



Василий Авенариус
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
О ВОСКЕСШЕМ ПОМПЕЙЦЕ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Василий Петрович Авенариус

**Необыкновенная история о
воскресшем помпейце
(сборник)**
(Личная библиотека приключений)

Сборник сказочных и фантастических произведений.

Содержание

#1	0008
Необыкновенная история о воскресшем помпейце	0007
Глава первая. Небывалая находка	0008
Глава вторая. Воскрешение помпейца	0015
Глава третья. Репортер «Трибуны»	0024
Глава четвертая. Исповедь помпейца	0036
Глава пятая. Вступительная лекция	0050
Глава шестая. Наука и жизнь	0057
Глава седьмая. Жизнь	0068
Глава восьмая. Последние слова цивилизации	0088
Глава девятая. Триумфатор	0104
Глава десятая. Травля	0120
Глава одиннадцатая. На родной почве	0129
Глава двенадцатая. Лютеция	0142
Глава тринадцатая. На Везувии	0159
Из рейнских сказаний	0171
Драконов утес	0171
Кельнский зодчий	0181
Сказание о Фритиофе, витязе норманнском	0197
#1	0197
Введение	0197
I. Фритиоф и Ингеборга	0205
II. Смерть отцов	0207

III. Сватовство Фритиофа	0210
IV. Сватовство короля Ринга	0212
V. Фритиоф за шахматами	0214
VI. Удаление Фритиофа	0216
VII. Фритиоф у Ангантира	0220
VIII. Возвращение Фритиофа	0224
IX. Месть Фритиофа	0226
X. Фритиоф у короля Ринга	0229
XI. Поездка по льду	0232
XIII. Искушение Фритиофа	0234
XIII. Смерть Ринга и выбор нового короля	0240
XIV. Примирение	0243
Биография	0247
Библиография	0250

**Василий Авенариус
НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ О ВОСКРЕСШЕМ
ПОМПЕЙЦЕ
Сборник**

**ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ**



**ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА**

X

**Leo
2016**

Василий Авенариус

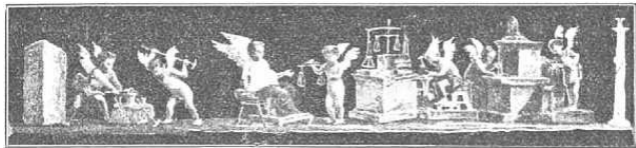
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
О
ВОСКРЕСШЕМ ПОМПЕЙЦЕ

Сборник



Необыкновенная история о воскресшем помпейце

Глава первая. Небывалая находка



В Помпее случилось нечто невероятное... не в древней Помпее до внезапного исчезновения её с лица земли под вулканическими пеплом Везувия, а в Помпее наших дней, встающей, спустя без малого два тысячелетия, из-под этого пепла.

Дело было так. На вакантную должность директора помпейских раскопок с полгода назад был назначен профессор Болонского университета Скарамуцциа. Выбор был как нельзя более удачен. В молодости своей Скарамуцциа был математиком и особенно пристрастия к физике. Физика завлекла его к родственным ей наукам — к технологии и есте-

ственной истории, а последняя — к медицине. По всем этим отраслям человеческих знаний он, за время своей тридцатилетней ученой деятельности, успел сделать замечательные открытия и изобретения, заслужившие ему европейское имя. Совершенно отдавшись науке, он дожил до 50-ти лет, не только не обзаведясь семьей, но не сведя даже дружбы ни с одним из своих ученых собратьев: наука заменяла ему и семью, и друзей. Точно также для него не существовали и произведения искусств, эти плоды «разгоряченной фантазии, взволнованной крови». И вдруг, к немалому удивлению его коллег-профессоров, в его взглядах и симпатиях совершился как бы крутой переворот: он стал усердно посещать картинные галереи и концерты, по часам беседовал с заклятыми эстетиками о законах стихосложения и контрапункта. Загадка, однако, вскоре разъяснилась: он напечатал объемистый том о художественных древностях. Между этими древностями и ископаемыми животного и растительного царств он проводил строгую параллель, доказывая, что ценность всякого предмета искусства прямо пропорци-

ональна его древности. Взгляд его был более, чем оригинален: он был односторонен. Но в своих замысловатых доводах почтенный ученый высказал опять-таки такое основательное знакомство с сокровищами древнего итальянского искусства, что как только освободилось место главного начальника работ в Помпее, оно было предложено ему, — первому знатоку дела.

На ловца и зверь бежит. Как бы в каком-то предвидение, Скарамуцциа с особенной энергией возобновил раскопки в нетронutom еще уголке «Улицы гробниц». И вот, после шестимесячных непрерывных работ, настойчивость его была блистательно вознаграждена. Натолкнулись на подземную гробницу, замурованную каким-то необычайно-твердым цементом. Благодаря нарочно приспособленным орудиям, удалось пробить этот цементный свод. Под ним оказался темный склеп. Подставили лестницу, и профессор, взяв зажжённый фонарь, лично сам спустился в глубину.

Оставшиеся наверху рабочие, утомленные тяжелой земляной работой, ничуть не любо-

пытствовали заглянуть туда же. Они были довольны уже тем, что могли вздохнуть хоть минутку, поболтать на досуге, и расположились кругом на каменных гудах. Вдруг из-под земли их громко окликнул начальник:

— Сейчас позвать ко мне синьора Пульчинеллу, да принести мой плед и салициловой кислоты!

— Живо, живо, братцы! — сказал товарищам своим старший рабочий Джузеппе, и те со всех ног бросились исполнить приказание неумолимо-взыскательного директора.

Сам Джузеппе подошел к краю темной ямы, чтобы узнать, на что тому могли понадобиться плед и салициловая кислота. При слабом свете фонаря в глубине он различил прежде всего, разумеется, самого начальника с его огромной лысиной от лба до затылка и с роговыми очками на орлином носу. Стоял он над каким-то ящиком или гробом, в котором лежал, по-видимому, покойник. В руках же у директора была какая-то бумага, которую он читал и перечитывал с таким вниманием, что совершенно забыл, казалось, о присутствии мертвеца.

Осенив себя крестом, Джузеппе спустился по лесенке туда же. В гробу, действительно, оказался вполне сохранившийся труп или, вернее, мумия молодого еще человека, до того он иссох, — одни кости да кожа. Бумага же в руках директора была какой-то исписанный, пожелтевший от времени пергамент, который он, видно, нашел около мумии; и содержание рукописи должно было быть особенно радостно, потому что суровое, мрачное лицо ученого, никогда почти не озарявшееся улыбкой, просто сияло от удовольствия.

— *Signore direttore!* — решился заявить о своем присутствии Джузеппе.

Скарамуцциа обернулся и, увидев подчинённого, против обыкновения милостиво хлопнул его по плечу.

— А! это ты, *fratello Giuseppe* (братец Джузеппе)! Ну, я тебе скажу, это такой подарок неба...

— Пергамент-то?

— Нет, не пергамент; вон субъекта этот.

— Да что это, иностранный принц какой, что ли?

— Не принц, древний помпеец! Помпеец

времен Тита...

— А Тит-то, кто же?

— Дурень!

— Дурень?

— Ты, ты — дурень, *carissimo* (любезнейший)! Тит — древний римский император первого века нашего христианского летосчисления. Понял?

— Понял.

— Ну, слава Богу. Гляди же.

Профессор с величайшею осторожностью прикоснулся пальцем до щеки мумии, и кожа на ней, под давлением пальца, поддалась.

— Замечаешь?

— Замечаю: мертвец, как быть следует. Предать земле, — и аминь.

Скарамуцциа с испугом отмахнулся.

— Господь с тобой! Зарыть такую драгоценность? Да я бы за нее не взял и ста тысяч лир.[1]

Джузеппе скорчил такую рожу, будто серьезно сомневался, в своем ли уме директор. Дальнейший разговор их был прерван прибытием помощника директора, синьора Пульчинеллы.

— На несколько дней, а может быть и недель, синьор Пульчинелла, вам придется здесь, в Помпее, вполне заступить меня, — объявил ему Скарамуцциа. — Я сделал такую находку, которая требует моего безотлучного пребывания в Неаполе. А что же плед и салициловая кислота?

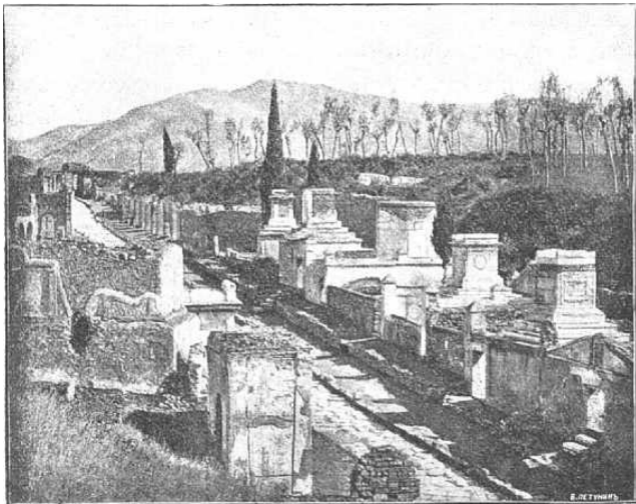
— Есоло! (Вот!) — в один голос отозвались двое из подоспевших также рабочих, подавая ему то и другое.

Распустив плед и опрыскав его из склянки противогнилостною жидкостью, Скарамуцциа накрыл им мумию, после чего приказал рабочим наложить сверху крышку.

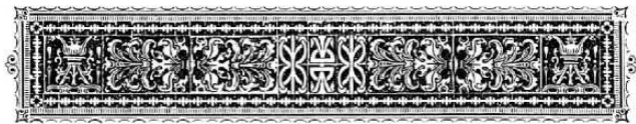
— Чем менее, друзья мои, вы будете разглашать о сегодняшней находке, тем лучше, — внушил он им. — А теперь снесите-ка мое сокровище на станцию. Только чур, не растрясите... Тише, тише!

— Ай, да сокровище... — перешептывались те между собой, вытаскивая на веревках гроб из ямы.

Улица гробниц в Помпее.



Глава вторая. Воскрешение помпейца



Гроб был пристроен в багажном вагоне. Самому себе Скарамуцци велел подать туда

скамейку и уселся около своей находки: упустить ее из глаз хотя бы на время переезда до Неаполя казалось ему невыносимым.

Да! Этакого счастья ему и во сне не снилось. Несколько лет назад, в период увлечения своего медициной, ему довелось побывать в Индии. Там он имел случай наблюдать на месте зарытие в землю фанатика-факира. В течение целого месяца чужак этот приучал себя голодать, пока вовсе почти не обходился без пищи. Тогда его обмыли какими-то эссенциями; свернули ему во рту язык назад так, чтобы зажать изнутри отверстия ноздрей; клочками ваты, упитанной скоро-отвердевающим бальзамом, плотно заткнули ему рот, нос и уши; наконец, вымазали ему все тело особым составом и, как настоящего покойника, зарыли его в землю. Три месяца пролежал он так, не принимая пищи, не подавая ни малейших признаков жизни. Тут его вырыли, раскупорили тем же порядком, оттерли с головы до ног пахучими маслами и влили ему в высохшую глотку оживляющих капель.

Когда затем, вдуванием воздуха в лёгкие, нажатием грудной полости и механическим

движением рук, стали возбуждать в нем искусственное дыхание, — труп внезапно ожил, восстал из мертвых.

С тех пор прошли годы. Профессор наш давным-давно забыл про бальзамированного факира. И вдруг сегодня судьба посылает ему этого редкостного «субъекта»! При первом взгляде ему бросилось в глаза поразительное сходство помпейца с тем факиром, — сходство не случайное, природное, а приданное обоим одинаковым способом сохранения их тел от тленья. Сердце в груди невозмутимого ученого ёкнуло, замерло. Он не смел почти верить в свое баснословное счастье. С трепетом взял он в руки ветхий пергамент, лежавший на груди бальзамированного. Но пергамент разом разрешил все сомнения: то был самый обстоятельный рецепт на латинском языке, как оживить бездыханного по истечении 30-ти лет, на который тот дал зарыть себя. Поставленное внизу число показывало, что зарытие состоялось за несколько дней лишь до разрушительного извержения Везувия, засыпавшего Помпею.

И вот, теперь этот единственный в своем

роде экземпляр в полном его распоряжении! Здесь, в полупотемках багажного вагона, где его никто не видит, ему нечего стыдиться своей безумной радости.

— Милый ты мой! хороший ты мой! — бормотал он, ласковой рукою проводя по крышке гроба, как бы отечески трепля покоящегося внутри.

А ну, как он не справится с рецептом? — Да нет, он в свое время так основательно изучил медицину, что изготовить все эти аптекарские снадобья для него, но составит особенно-го затруднения. Собственноручно изготовить он их, ни души посторонней не допустить!

Никто не предвосхитить у него этого научного клада. Поскорей бы только добраться до Неаполя. А! наконец-то свисток!

Поезд вкатился в вокзал. Несколько носильщиков зараз вскочили в багажный вагон.

— Прикажете принять?

— Да, только, ради Бога, осторожнее, братцы!

Перенесение помпейца до городской квартиры профессора на набережной ди-Киаия совершилось без всяких приключений. Для та-

кого дорогого гостя Скарамуцциа отвел лучшее свое помещение — рабочий кабинет. Рассчитав носильщиков, он тотчас занялся приготовлением указанных в рецепте средств, а затем, при помощи единственного доверенного лица — испытанного камердинера своего, Антонио, приступил к предписанным в рецепте манипуляциям над бальзамированным...

К сожалению, мы пока не вправе выдать самый способ предпринятого оживления, ибо способ этот до поры до времени составляет секрет синьора Скарамуцциа, который располагает взять на него привилегию. Можем сказать только, что первые старания почтенного профессора были безуспешны. Даже после заключительной операции — возбуждения искусственного дыхания, помпеец продолжал лежать пластом, не пошевелил ни пальцем.

— *Sogro di Dio!* (Господи помилуй!) Отдохнем немножко.

Не желая показывать камердинеру своего отчаяния, Скарамуцциа опустил в кресло и закурил сигару. Три битых часа, ведь, он, заклятый курильщик, не делал ни одной затяж-

ки. — и все напрасно.

Антонио также доработался до третьего пота. Отирая платком лицо, он в совершенном изнеможении прислонился к дверям. Хотя профессор и отвернулся от него к окошку, камердинер хорошо видел, с какою нервно-стью тот пускал к потолку клубы дыма: очевидно, и у господина его не оставалось уже надежды воскресить мертвеца.

— Да не сходить ли сейчас за гробовщиком? — решился предложить Антонио.

Скарамуцциа грозно на него оглянулся.

— Что?!

— Я только думал, сударь, что все равно толку не будет...

— Смей ты у меня только еще заикнуться!

Он быстро подошел опять к бальзамированному и кивнул камердинеру, чтобы тот взялся также за дело. Очень может быть, что и на этот раз все усилия их ни к чему бы не привели, если бы Скарамуцциа вынул изо рта сигару. Продолжая же курить, он волей-неволей пускал в лицо распростертого перед ним помпейца струю за струей табачного дыма. Не мешаает здесь кстати заметить, что ита-

льянский табак довольно низкого качества, и у непривычного человека от едкого дыма его неизбежно запершит в слизистых оболочках носа и горла. Вдруг ноздри помпейца задрожали, раздулись, и он чихнул и фыркнул так звонко, что наклонившийся над ним Скарамуцциа отшатнулся. Вслед затем мнимоумерший, не раскрывая еще глаз, поморщился и пробормотал, разумеется, по-латыни:

— Что это за отвратительный запах гари?

И господин, и камердинер от неожиданности просто ослбенели. Господин пришел в себя первый.

— Ах, голубчик ты мой! Ну, Антонио, скорей же вина и устриц!

Услышав чужой голос и незнакомую речь, помпеец повел кругом непрояснившимися еще глазами и остановил их на хозяине.

— Где я, и что со мною?

Скарамуцциа, как человек ученый, знал, разумеется, по-латыни, и объяснялся даже довольно свободно на этом языке.

— Ты в Неаполе и у добрых друзей. — отвечал он. — Ты помнишь вероятно, что дал когда-то закопал себя?

— А! правда. И я теперь ожил?

— Ожил — после довольно долгого сна.

— А именно?

Скарамуцциа опасался испугать едва ожившего и уклонился от прямого ответа.

— Как раз вовремя, чтобы дать мне познакомиться с тобою, — сказал он. — Не забывай, что ты пациент. Первым делом надо тебе подкрепиться. Эй, Антонио! Скоро ли?

— Несу, синьор, несу.

Не без некоторого усилия проглотил ослабленный пациент с полдюжины устриц. Когда же хозяин влил ему в рол рюмку старого вина, он сперва поперхнулся, раскашлялся, а потом закрыл опять глаза и впал тотчас в глубокое забытьё.

— Теперь мне можно идти, синьор? — спросил шёпотом Антонио.

— Ступай. Но, как сказано, — я никого не принимаю, ни единая душа не должна знать, что происходил в этих четырёх стенах.

— Синьор хочет делать над этим... «субъектом» научные опыты?

— Да. Но тебя это, я думаю, не касается?

— Точно так. Но, извините, синьор: у меня

в груди тоже не камень, знаете, а сердце. Вы не станете его очень мучить?

— Мучить?

— Да, как, бывало, знаете, этих лягушек да кошек. Не будете вытягивать ему жилы, распаривать живот, сдирать с него кожу?

Скарамуцциа нетерпеливо дернул плечом.

— Ты — малолетний. Антонио! Субъект мой — не лягушка, не кошка, а человек, как и мы с тобой. Интересует же он меня, как одушевленная древность, и изучить его с духовной, нравственной стороны я хочу ранее моих ученых коллег. Это ты, надеюсь, понимаешь?

— Как не понять.

Человеколюбивый камердинер на цыпочках удалился. Господин же его уселся за письменный стол, развернул большую, совсем чистую еще тетрадь, вывел на заглавной странице крупными буквами: «Мой дневник о помпейце» и принялся писать самый обстоятельный отчет о том, как был им найден и оживлён помпеец.



Глава третья. Репортер «Трибуны»



Набережная ди Киайя в Неаполе.

Прошло два часа, прошло три; помпеец все еще не просыпался. Нисколько раз Скарамуцци тревожно подходил к нему, наклонялся над ним: дышит ли он еще? Едва слышное, но ровное дыхание спящего всякий раз успокаивало нашего ученого.

Тут из-за дверей, из третьей комнаты донеслись к нему звуки двух спорящих голосов. Затем раздался легкий троекратный стук в дверь: так стучался один Антонио.

— Entrate! (Войдите!)

Стучавший, действительно, был Антонио. В одной руке у него была вазочка, наполненная визитными карточками, в другой — небольшая пачка таких же карточек.

— Это что такое? — с неудовольствием спросил его профессор.

— Карточки от разных господ, что хотели видеть вашу милость, узнать подробности про воскресшего.

— А ты уже проболтался, что мы его воскресили?

— Ой, нет, синьор! Я от всего отпирался. Да вот эти пятеро, — продолжал Антонио, указывая на бывшую у него в руке отдельную пачку карточек, — просто штурмом ломались в дверь. Еле-еле сдержал их.

— Да кто они такие?

— Газетные писаки. Извольте сами прочесть.

Профессор принял карточки и, хмурясь, прочел сквозь зубы:

— «Бартолино», репортер «Неаполитанского Курьера»; «Меццолино», репортер «Утра»; «Труфальдино», репортер «Родины»; «Педролино», репортер «Жала»; «Баланцони», доктор

изящных искусств и корреспондент-репортер римской «Трибуны».

— Ну, да, так и есть! — проворчал он.

— Да, — подхватил Антонио, — четырех-то из них я кое-как еще ублажил; вечером обещались понаведаться. С пятым же не сладил: ворвался он силой в гостиную и говорить: «доложите, мол, что не уйду, куда самого не увижу».

Скарамуцциа в сердцах даже топнул ногой.

— *Cospetto del diavolo!* (Это чёрт знает, что такое!) Нечего делать. Ты, Антонио, побудь уж покамест тут: неравно пациент наш проснется.

Он сам прошел в гостиную. Непрошенный гость развалился в мягком кресле, точно был лучшим другом дома. Это был мужчина средних лет, довольно неказистый на вид и неряшливо одетый, но в правом глазу у него был ущемлён монокль, вокруг измятого воротничка был намотан ярко-пунцовый шарф, приколотый золотой булавкой величиною с маленький грецкий орех и изображавшей мертвую голову; а на толстой золотой цепоч-

ке болтался карандаш в форме золотого пистолетика. Впрочем, за качество металла мертвой головы, цепочки и пистолета мы не ручаемся.

При входе профессора, гость на половину приподнялся, небрежно-элегантным жестом пригласит хозяина сесть рядом на диван и сам опустился опять в кресло.

— Лично, *signore direttore*, я не имел еще чести быть представленным вам, — начал он, — но позволю себе надеяться, что имя здешнего репортера римской «Трибуны» *dottore Balanzoni*, вам не совсем безызвестно?

— Слышал, — холодно отвечал профессор. — Чему я обязан честью видеть вас, *signore dottore*?

— Во-первых, я счел долгом от имени всей нашей отечественной печати принести вам искреннее поздравление с вашей удивительной находкой!

Скарамуцциа принял недоумевающий вид.

— Я вас не понимаю, сеньор. О какой такой находке говорите вы?

Гость с приятельской фамильярностью

хлопнул его по колену. Bello, bellissimo! (Премило!) Кого вы вздумали морочит? Коли вес Неаполь толкует теперь только о вашем помпейце, так как же мне-то, первому репортеру, не знать о нем? Но что пока известно еще очень немногим — это то, что вы его оживили.

— С чего вы взяли? Неужели Антонио...

— Нет, Антонио ваш, я должен отдать ему честь, нем, как рыба, — с тонкой усмешкой отвечал репортер. — Но отчего же вы сами сейчас так испугались? Что значили ваши слова: «Неужели Антонио?..» Если бы оживление не удалось, то восклицание это не имело бы смысла... Погодите же, куда вы! — вскричал он, удерживая за полу профессора, который вскочил с места. — Ведь помпеец ваш спит; стало быть, вам некуда торопиться.

— Почему вы знаете: спит он или нет?

— Наверное, спит: иначе вы не оставили бы его одного. Только напрасно вы его с первого же раза так основательно напоили.

— Напоил?

— Ну, да, потому что без крепкого вина его, очевидно, сразу бы опять не укачало.

— Ну, *Lacrymae Christi* вовсе не так уже крепко...

— Однако, в таком количестве!

— В каком количестве? Одна рюмка и рюбенку не повредит; а он взрослый мужчина...

— Да ведь с непривычки и почти натошак...

— Как врач, я руководился строгими правилами гигиены, и более полдюжины устриц, поверьте мне, я не смел ему дать.

— Не знаю, как и благодарить вас, *signore direttore!* — сказал Баланцони, с притворною сердечностью потрясая обе руки ученого. — Благодаря вашей любезной общительности, мой завтрашний фельетон, можно сказать, готов: воскрешение из мертвых — раз; рюмка *Lacrymae Christi* — два; полдюжины устриц — три; сон — четыре... А уж мое дело, фельетониста, разукрасить эти данные подходящими арабесками.

— *Maledetto!* (Проклятье!) — пробормотал про себя Скарамуцциа.

— Но скажите, *signore direttore,* — продолжал репортер: — к чему вы делаете из вашего помпейца какой-то секрет?

— Я возвратил его к жизни; значит...

— Значит, можете и распоряжаться им, как вашею собственностью? В наш просвещенный век, слава Богу, свобода личности вполне ограждена, и сам помпеец ваш первый запротестует против вашего самоуправления с ним!

— Личная свобода человека вообще, конечно, священна, — отвечал профессор, морщась и нетерпеливо потопывая по ковру ногой; — по, не касаясь теперь вопроса о том, может ли такой выходец с того света почитаться равноправным с нами, современными людьми, — не следует забывать, что он страшно отоцал, и что на первое время для правильного откармливания его нужен безусловный покой.

— На первое время — пожалуй, согласен. А потом еще что же?

— Потом... От огромной массы новых впечатлений может пострадать у него цельность и ясность этих впечатлений. А для науки, как знаете, систематичность наблюдений особенно необходима, потому что он для нашего века новорожденный; душа его, как у младенца, по меткому выражению Аристотеля, — *tabula*

гаса, незапятнанная доска, на которой всякий может писать, что ему угодно; а дайка эту доску в иные руки, — скоро на, ней ни одного чистого местечка не останется.

— Сравнение это принадлежит Аристотелю, говорите вы? — переспросил Баланцони, хватаясь за висевший у него на часовой цепочке пистолетик-карандаш.

— Аристотелю; сколько помнится, он говорит об этом во 2-й книге своего рассуждения о душе. Впрочем, и Цицерон сравнивает человеческую душу, непросветленную наукою и опытом, с плодородным полем, еще невозделанным и необсемененным.

— Не припомните ли также, где говорит он это?

— Говорит он это в своей речи... Да что вы там делаете, синьор? — прервал вдруг сам себя Скарамучциа, видя, как гость его отодвинул обшлаг левого рукава и на своей манжетке принялся быстро отмечать что-то карандашом.

— Это у меня, извольте видеть, — пистолет, не огнестрельный, но не менее меткий, это — упрощенная записная книжка. Итак, к

четырем первым пунктам я могу прибавить еще три: безусловный покой для правильного откармливания, Аристотелева *tabula rasa* из 2-й книги его рассуждения о душе, и, наконец, невозделанное поле Цицерона... Виноват, вы не досказали, в какой речи его упоминается об этом поле?

— Милостивый государь! — вспыхнул Скарамучца. — Вы записываете все мои слова?

— Ни все! — успокоил его репортер с приятнейшей улыбкой. — Только те, которые могут пригодиться для моего фельетона... Нет, нет, не перебивайте! Выслушайте сначала, а там решайте сами. Что мы, репортеры, народ довольно настойчивый, вы, я думаю, успели уже убедиться?

— Даже более, чем настойчивый...

— Назойливый, невыносимый, хотите вы сказать? Ну, вот, так я берусь избавить вас до поры до времени не только от моей собственной персоны, но и ото всех моих собратьев по перу, чтобы не мешать вам в ваших научных наблюдениях над помпейцем. Согласитесь, что это чрезвычайно мило?

— Согласен.

— Пока я буду довольствоваться теми немногими сведениями, которые вы соблаговолите передать мне для удовлетворения всеобщей любознательности. Но все это, конечно, под одним условием...

— Чего же вам нужно?

— Очень немногого. Как только ваши эксперименты с помпейцем будут окончены, и он должен быть выпущен на свет Божий, вы тотчас предваряете меня о том и затем уже не препятствуете мне (только мне одному, слышите, а не моим коллегам!) общаться с ним, вывозить его, куда мне вздумается, и т. д., и т. д.

— Гм... — промычал Скарамуцциа. — Я вижу, *signore dottore*, что от вас не отвязаться. Но все-таки для меня непонятно, как вы придумите ваших коллег...

— Сейчас поймете, почтеннейший, сию минуту. Дайте мне только сперва ваше слово, — слово уважаемого всей Европой ученого, — что вы без всяких оговорок принимаете мою сделку.

— Ну, хорошо, хорошо! — со вздохом покорился тот неизбежному. — Итак?..

— Итак, извольте видеть: здесь, в Неаполе, все уже знают про вашего помпейца, и пока вы здесь, вам не будет отбоя от любопытных. Увезите же его отсюда на несколько дней в какую-нибудь глушь, увезите тихомолком в ночную пору, чтобы никто здесь и не подозревал, куда вы делись.

Скарамуцциа хлопнул себя рукой по лбу.

— Какая ведь простая идея, а не пришла мне самому в голову!

— Гениальные идеи по большей части очень просты, — самодовольно усмехнулся Баланцони. — Как видите, они приходят иногда и простым смертным.

— Но пациент мой, боюсь, слишком слаб еще для такой поездки.

— Так вот что, — нашелся снова гениальный репортер: — оставайтесь-ка с ним пре-спокойно здесь, в городе...

— На этой самой квартире?

— На этой самой квартире; сделайте только вид, будто уехали. Я же, с своей стороны, озабочусь, чтобы завтра же во всех здешних газетах появилось сообщение «из самых верных источников», что вы с ночным поездом

укатили в Рим, захватив с собой вашего драгоценного пациента.

— Вот это так! Вы, *signore Balanzoni*. я вижу, в самом деле, не такой уже...

— Простой смертный, как вы думали? Покорно благодарю! На этом разговор был прерван показавшимся в дверях Антонио. Профессор вскочил навстречу ему с дивана.

— Ну, что? проснулся?

— Точно так, синьор. Но что такое он лопочет, — хоть убейте, не разберу.

— А он еще в постели или уже встает? — вмешался тут Баланцони.

— Тс! Ни полслова! — остановил камерди-нера хозяин, зажимая ему рот рукою.

— Но уговор наш, *signore direttore*, остается, конечно, в силе?

— Да, да... До свидания...

И Скарамуцциа без оглядки поспешил к своему пациенту.



Глава четвертая. Исповедь помпейца



Помпеец, действительно, проснулся. Глаза его с недоумением блуждали по комнате с предмета на предмет. Он, очевидно, не мог уяснить себе, куда это занесло его. Еще более озадачен казался он при виде входящего хозяина, одетого не в древнеримскую тогу, а в современный костюм: пиджак да брюки. По простая вежливость гостя в чужом доме не позволяла уже ему обнаруживать свое удивление по поводу этого уморительного кургузого наряда. С благодарной улыбкой он протянул профессору свою исхудалую руку.

— Прости, что я не встаю: один я не в состоянии еще приподняться. Ведь ты, конечно, спаситель мой?

— Мне, точно, выпало счастье возвратить тебя к жизни, — отвечал Скарамуцциа, осто-

рожно пожимая поданную ему руку.

— Да благословят же тебя всемогущие боги! Дозволь мне теперь первым долгом возблагодарить святых пенатов приютившего меня крова.

По строгим губам ученого, не знавшим настоящего смеха, проскользнуло подобие усмешки.

— К сожалению, это неисполнимо, — сказал он, — пенатов у меня в доме нет.

— Да, в самом деле, — догадался помпеец: — ты, должно быть, чужеземец, судя по твоему странному одеянию.

— Нет, я итальянец, римлянин, как и ты.

— И у тебя нет пенатов?

— Нет, потому что я — христианин.

Помпеец с испугом осмотрелся кругом, не слышал ли кто посторонний этого безумно-смелого признания.

— Ты... ты приверженец той опасной ереси? — прошептал он, не смея громко произнести даже слово «христианин».

Профессора все более забавляло детское неведение взрослого младенца. Но, чтобы пациента не чересчур поразили дальнейшие

новости, которые, так ли, сяк ли, предстояло ему узнать, надо было предварительно подкрепить опять его физические силы. Скарамучция кликнул Антонио, и, немного погодя, помпеец с жадностью уплетал жареного цыпленка, запивая его огнистым вином. Обсосав последнюю косточку, он со вздохом обтер салфеткой губы.

— Что, еще бы поел? — спросил хозяин, с удовольствием наблюдавший за аппетитом гостя.

— Да, признаться, еще пару таких же цыплят сейчас одолел бы...

— Успеешь: после такой голодовки сразу нагрузить совершенно пустой желудок не безопасно. Теперь, если хочешь, я готов ответить тебе на всякий вопрос. Ты был удивлен, что я, как итальянец, исповедую христианскую веру. Что скажешь ты, когда узнаешь, что все вообще итальянцы, все европейцы открыто исповедуют ту же веру?

— Не может быть! Ты шутишь?

— Не думаю шутить. Разве я похож на шутника?

— Но этот шутовской наряд...

— Весь образованный класс ходит теперь в таком же платье.

— Что я сплю еще, или ум у меня мешается?

— Ни то, ни другое, друг мой. Ты только пролежал довольно долго в земле.

— До тридцати лет?

— Несравненно долее.

— Неужели сто лет?

— Слишком восемнадцать столетий.

— О, Лютеция! — вырвалось из уст помпейца, и глаза его подернулись слезою. — Стало быть, её не только нет уже в живых, но пепел её развеяло на все четыре стороны...

Он погрузился в глубокую задумчивость. Скарамуцциа счел за лучшее не прерывать его грустных размышлений, чтобы дать ему оправиться и привыкнуть к действительности.

— Ты нашел меня в моей помпейской усыпальнице? — вдруг очнувшись, спросил помпеец.

— Да, только нынешним утром.

— Через восемнадцать столетий! Но чем объяснить, что до сих пор никто другой не

вырыл меня?

— Ты лежал под грудой пепла.

— Так моя усыпальница сторела?

— Раз, милый мой, тебе надо узнать правду: всю Помпею Везувий засыпал своим пеплом.

— Великий Юпитер! И ничего от неё не осталось?

— Напротив, вся она прекрасно сохранилась, — благодаря именно тому, что была засыпана. Ты слышал, конечно, про знаменитого натуралиста твоего времени Плиния?

— Как не слышать! Я имел честь даже принимать его у себя на вилле моей вместе с молодым племянником его, Каем-Плинием-Цецилием.

— Так вот дядя, Плиний Старший, погиб, наблюдая тогда извержение Везувия; племянник же, Плиний Младший, спасся и описал потом это извержение. Если хочешь, я сейчас прочту тебе его рассказ?

— Прочти, прочти, сделай милость!

Доставь из книжного шкафа требуемый том, Скарамуцци прочел вслух отчет очевидца о разрушении Помпеи.

— И мне одному суждено было пережить всех их на столько веков... — проговорил помпеец. — Ну, что ж! богам угодно было продлить мой век, — исполним их высшую волю. Но до сих пор я не знаю еще, кому обязан своею жизнью?

Скарамуцциа удовлетворил его вопрос; затем, в свою очередь, заметил:

— Но ведь и мне еще неизвестно, кто гость мой?

— Виноват, великодушный друг! — воскликнул помпеец. — Первою обязанностью моей, разумеется, должно было быть, — успокоить тебя, что ты спас и приютил у себя не совсем недостойного. Слушай же. Я ничего от тебя не скрою.

Зовут меня Марком-Июнием-Фламинием. Фламинии, как ты, может быть, слышал, одна из древнейших фамилий римских патрициев. Отец мой. Марк Туллий Фламиний, в течение долгих лет занимал место проконсула в Родосе. К несчастью, он ослеп и вынужден был отказаться от дальнейшей службы. Мы возвратились в Рим; но, чтобы сделать из меня, своего единственного сына, достойного себе пре-

емника, он взял с собою из Греции в наставники мне молодого философа Аристодема. До сей минуты не могу вспомнить об этом дорогом мне человеке без сердечного умиления! Он принадлежал к благородной школе Платона и, взявшись воспитать меня, весь отдался своей задаче, стараясь пробудить во мне одни чистые, светлые стремления, любовь к ближнему, к науке, к прекрасному. Пускать в дело ферулу[2] ему никогда не приходилось: не выпуская из рук грифеля и восковой доски, я готов был весь день сидеть у ног его и слушать его мудрые поучения. Но расчёт отца все-таки не совсем оправдался. Мне не было еще и 17 лет, как отец умер, оставив меня полным наследником всего своего состояния, очень значительного. Пустыми мирскими развлечениями римской молодежи я, правда, уже не увлекся. Но Аристодем давно томился тоской по родине и наговорил мне столько чудесного о своей милой Греции, что увидеть опять эту колыбель древнего искусства, которую я помнил только как сквозь сон, стало моей заветной мечтою. И вот, мы снарядили корабль, посетили сперва Родос и другие острова Гре-

ческого Архипелага, а там добрались и до самой Греции. Мы не пропустили, кажется, ни одного города, ни одного местечка, где совершилось что-либо замечательное, где сохранился какой-либо памятник искусства. Так одна Греция заняла у нас два года. Двухлетняя кочевая жизнь до того избаловала меня непрерывно-сменяющимися впечатлениями, что обратилась в неутолимую страсть. Наставник мой старался было образумить меня; но и самого его, может-быть, тянуло в чужие, неизведанные страны, и он не долго упорствовал, когда убедился, что я в конце концов настою на своем.

Так побывали мы с ним в Египте, в Мидии и, наконец, забрались в самую глубь Азии — в Индию.

Но тут я был жестоко наказан за свое упорство: Аристодем, в котором я видел уже не столько наставника, сколько лучшего друга и старшего брата, заразился индийской повальной болезнью — холерой, и в 24 часа его не стало. Надо ли говорить о моем отчаянии? Довольно того, что я потерял всякую охоту к жизни, — и стал отказываться даже от пищи.

Неизвестно, чем бы я кончил, если бы во мне не принял участия один индийский факир, Амбаста, с которым мы последнее время перед тем вели горячие ученые споры. Участие его ко мне было, правда, скорее научное, чем человеческое.

— Ты, значить, уже не дорожишь жизнью? — спросил он меня.

— Нисколько, — отвечал я.

— Но науку ценишь?

— Ценю.

— Так пожертвуй собою для науки!

— Каким образом?

— Ты, помнишь, оспаривал, чтобы человек мог прожить три месяца без глотка воды, без куска пищи?

— И теперь не верю.

— Так отдайся мне ради науки!

— Но что ты сделаешь со мною?

— Боли тебе я никакой не причиню. Ты сам не заметишь, как заснешь; а через три месяца увидим, — кто был прав.

— То-есть, ты один увидишь, что я был прав; я уже не проснусь.

— Не проснешься, — так достигнешь толь-

ко того, чего сам хочешь: вечного покоя, нирваны; стало быть, ничего не потеряешь. Итак, отдаешься, или нет?

— Отдаюсь, пожалуй.

Факир мой не дал мне одуматься, набальзамировал меня, как бездушный труп, усыпил меня наложением рук и закопал в землю. Сам я этого уже не сознавал; не чувствовал, сколько времени пролежал так в земле. Но когда я очнулся, то оказалось, что я пролежал ровно три месяца. Я должен отдать справедливость Амбасте, что он принял все меры, чтобы возвратить меня к жизни. Он даже перемудрил, не в меру поусердствовал: точно он налил мне в жилы какой-то чудотворной жидкости, у меня явился волчий голод, а кровь в жилах ключом заиграла. О смерти я забыл и думать; жизни, самой веселой, безрассудной жизни жаждал я всем существом. Но строгий быт богомольных, трудолюбивых индусов не давал мне развернуться. Легкомысленные потехи беспечных, разгульных римлян, которыми я когда-то пренебрегал, представлялись мне теперь особенно заманчивыми. То, чего у нас нет, всего более, ведь,

нас прельщает. Я тут же решил возвратиться в Рим. Как ни отговаривал меня мой аскет-факир, который смотрел на меня уже как на свою собственность, я настоял на своем. Тогда он, скрепя сердце, собрался также вместе со мною. Он предвидел, что я еще пригожусь ему для новых опытов, а может быть, впрочем, он несколько тоже привязался ко мне. В Риме я тотчас обзавелся лучшими учителями по всем частям, требующим телесной ловкости, и вскоре в фехтовании, в метании дротика, в стрельбе из лука, в езде на колеснице, а также во всяких безрассудствах, между молодыми патрициями не было мне равного. Тут до меня дошел слух о молодой Лютеции, которая яркою звездой блистала между всеми красавицами Помпеи. Подобно другим патрициям, я собирался купить себе приморскую виллу, где мог бы спастись от летних жаров. Теперь выбор мой остановился на Помпее. Вилла была скоро найдена, знакомство с отцом красавицы, квестором Помпонием, было скоро заключено. Как Юлий Цезарь, я с первого шага в дом рассчитывал «прийти, увидеть, победить». А между тем «пришел, увидел и

был побежден» — побежден и божественной красотой её, и еще более дивной игрой её на арфе. Сама Эвтерпа[3] водила её перстами! Земное счастье без её казалось мне невысказано. Но, смелый с другими, я робел перед нею, как мальчик, боялся заговорить с нею о женитьбе. Нерешительность моя меня погубила. Пока я колебался, Лютеция с отцом собралась к родным в Кумы. Там судьба свела ее с дальним родственником, Публием-Кассием, писанным красавцем и щеголем первой руки. Заворожил ли он ее сладкими речами, подсыпал ли ей волшебного зелья, — только домой, в Помпею, она вернулась уже его невестой. Не скажу про него более ничего дурного: его нет ведь тоже на свете. *De mortuis nil nisi bene* (о мертвых одно хорошее). Но для меня точно солнце погасло на небосклоне: и глядеть на Божий свет мне стало тошно и горько. Мой единственный друг, факир, старался меня ободрить и утешить.

— Время — лучшее лекарство, залечивает всякие раны, — говорил он. — Погоди какие-нибудь 20–30 лет, — такова ли будет твоя Лютеция? — Ты и глядеть-то на нее не захо-

чешь!

— Легко сказать— 30 лет! — возразил я. — Если бы я еще мог это время проспать беспробудно...

— А в самом деле ведь! — сказал Амбаста. — Проспи, — я тебя усыплю, и проснешься ты тем же еще молодым человеком, а она будет уже старой матроной. Науке же ты принесешь этим новую услугу. Я твердо убежден, что пролежать в земле без нищи можно не 3 месяца, а хоть 30 лет.

Имея средство продлить свою жизнь, он, видно, рассчитывал ташке дожить до моего пробуждения. Мне терять было нечего, — и я дал снова зарыть себя, замуровать на целые 30 лет. Кто мог предвидеть, что из этих 30 лет станет 18 веков! Ни Лютеции, ни соперника моего, ни факира нет уже и следа...

— Исповедь моя кончена, — печально заключил свою повесть Марк-Июний. — Факир не ошибся, — я проснулся, восстал из мертвых; но на радость ли, — одним бессмертным известно.

— Конечно, на радость! — подхватил Скарамуцциа. — Что случилось с миром за время

твоего векового сна, — ты и представить себе не можешь. Как человеку смышленому и ученому, тебе всякое приобретение науки должно быть тоже дорого и мило. А сколько этих приобретений накопилось до сих пор, — и счесть нельзя. Если бы я не боялся слишком утомить тебя, то сейчас бы прочел тебе небольшую вступительную лекцию...

— Я буду тебе даже благодарен. Это меня хоть несколько рассеет.

— Стало быть, можно? Изволь, слушай. Итак, что такое цивилизация?..



Глава пятая. Вступительная лекция



Скарамуцциа обладал большим даром красноречия. Когда он, бывало, в Болонье всходил на кафедру, аудитория кругом была битком набита студентами всех факультетов. Чтобы не развлекаться множество устремленных на него глаз, он снимал с носа очки, зажимивал глаза. Постепенно увлекаясь своим предметом, он забывал слушателей и весь мир вокруг себя и проповедовал как бы в бессознательном состоянии ясновидения. Так было и на этот раз. Отложив в сторону очки и зажмурясь, он с добрых полчаса уже читал свою вступительную лекцию, а единственный слушатель его хоть бы шелохнулся.

— Итак, вот в чем наиболее ценные плоды цивилизации! — громогласно провозгласил он и в первый раз раскрыл глаза.

Слова замерли у него на губах: гостя вдох-

новенная лекция его просто убаякала! Для знаменитого лектора такое снотворное действие его чтения было так необычно, что он надел очки и внимательно оглядел распростертого перед ним помпейца. Так и есть: ведь спит самым бессовестным, здоровым сном!

— Марк-Июний!

Тот встрепенулся, раскрыл один глаз и сладко зевнул.

— А? что такое?

— Ты, я вижу, преспокойно проспал всю мою лекцию?

— О, нет, я все слышал... все слышал... — поспешил уверить смущенный Марк-Июний, протирая глаза.

— Если слышал, то повтори-ка мои последние слова?

— «Итак, вот в чем наиболее ценные плоды цивилизации!» Верно?

— Верно. Ну, а в чем же эти плоды?

— В чем?.. Ты слишком требователен для первого урока. Дай мне сперва присмотреться...

— Так назови, укажи мне хоть один такой

плод?

Помпеец окинул фигуру профессора быстрым взглядом и тонко улыбнулся.

— Вот хоть бы этот наряд твой. По-твоему, он, конечно, очень изящен; по-моему, же, извини, просто безобразен.

— О вкусах не спорят, — сказал сухо Скарамуцциа. — К современному платью во всяком случае мы привыкли, и оно практичнее ваших древних цветных плащей, потому что не так марко. Гоняться же за красотой в нарядах недостойно разумного мужчины.

— Благообразие, я полагаю, не лишне и мужчине, — возразил Марк-Июний. — Но так как ты, я вижу, ничуть не заботишься о своей внешности, то эта штука у тебя на носу, конечно, служит тебе не украшением, а полезным орудием для обоняния?

Предположение помпейца было чересчур дико; хозяин с состраданием усмехнулся.

— Нет, — отвечал он, — очки служат мне для лучшего зрения. Без них я не вижу и на расстоянии пяти шагов.

— Ах, бедный!

— Ты совершенно напрасно обо мне сожа-

леешь: я горжусь слабостью своего зрения!

— Я тебя не понимаю.

— А между тем нет ничего проще. Я испортил свои глаза научными занятиями. Стало быть, слабость зрения у меня прямое последствие и самое наглядное доказательство моего умственного развития.

— Гм... — промычал Марк-Июний, не совсем как будто убежденный. — После этого ты, пожалуй, станешь гордиться и своей лысиной, потому что и она произошла от тех же научных занятий?

— А еще бы! — подхватил профессор и самодовольно провел рукою по своему обнаженному, как ладонь, черепу. — Лысина для нашего брата, ученого, — первое украшение.

Марк-Июний прикусил губы, чтобы не фыркнуть.

— Так как человечество постоянно развивается, — возможно серьезно сказал он, — то можно надеяться, что со временем все — и мужчины, и женщины, и старцы, и дети, — будут щеголять лысинами?

— Несомненно. Раз настанет такой период, когда положительно ни у кого не останется

волоска на голове. Это будет апогей, венец человеческого развития...

— И человеческой красоты! — расхохотался помпеец. — Из этого я могу, кажется, заключить, что и копь, разбитый на все четыре ноги, с исполосованной спиной от ударов бича, ценится у вас дороже молодого коня с здоровыми ногами, с здоровой шкурой?

Ученый наш замялся.

— То конь, а мы люди...

— Да в отношении порчи, чем же мы отличаемся от коня? Твоя умственная работа — та же езда, тот же бич, от которых тело твое приходит все в большую негодность. Чем же тут гордиться? А что до пользы очков, то не будь ты так развить, ты не испортил бы себе глаз; а не испортив глаз, ты не нуждался бы в очках. Стало быть, не будь вашей цивилизации, не было бы и надобности в очках.

«Ого-го, — сказал сам себе Скарамуцциа, — да с этим молодчиком надо говорить с оглядкой: того гляди, что подденет!»

И чтобы вдохновиться к новому возражению, он зажег себе сигару.

— А этот черный корешок — тоже «плод

цивилизации»? — продолжал допытываться помпеец.

— Как же.

— И тебе доставляет некоторое удовольствие вдыхать его горький дым?

— Даже большое. Для меня эта горечь слаще меду.

— Я не поверил бы, если бы не видел своими глазами. Меня от этого запаха просто мутит. Не такова ли, однако, и вся ваша цивилизация: кому от неё сладко, а кому тошно.

— Ты рассуждаешь, как слепой о цветах! — сердито проворчал профессор. — Никто тебя не неволит курить. Цивилизация дает всякому полную свободу — пользоваться всеми её плодами...

— И стеснять тем других?

— Но если сигара составляет для меня уже необходимую потребность? Если я без неё не могу работать, мыслить?

— А! так это уже прихоть, слабость. Пока я замечаю только, что цивилизация ваша создала новые потребности, без которых мы, древние, прекрасно обходились. Прямой пользы от неё я не вижу.

— Скоро увидишь, очень скоро увидишь! — перебил Скарамуцциа. — Допустим, что сигары — прихоть. Допустим даже, что очки исправляют только тот изъян, что причиняет нашему зрению цивилизация, — хотя, впрочем, есть не мало и простолюдинов, которые слабы глазами и пользуются очками. Но очки — только простейшая форма современных оптических инструментов. Есть у нас такие стекла, сквозь которые мы ясно различаем самых мелких букашек, невидимых простым глазом; есть и такие, которыми мы приближаем к себе самые отдаленные небесные светила...

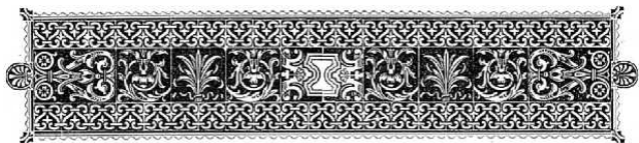
— Правда? Я не смею сомневаться в твоих словах. И если это, действительно, так...

— погоди, погоди; не то еще узнаешь. Дай мне только наметить программу.

И, не теряя ни минуты, Скарамуцциа засел за свою программу.



Глава шестая. Наука и жизнь



Под утро программа была готова, а с утра началось её выполнение.

Марк-Июний настолько уже окреп, что, задрапированный в плед, как в древнеримскую тогу, мог сидеть в вольтеровском кресле. Так как накануне речь зашла об оптических инструментах, то Скарамуцциа решился начать свой курс с оптики. Наставив микроскоп по глазам ученика, он стал показывать ему из своей коллекции микроскопических препаратов наиболее интересные. Помпеец только ахал от восхищения.

— Да это чудо что такое! Микроскоп — это единственное в своем роде изобретение.

— Далекое не единственное — с самодовольствием отвечал профессор.

И, подкатив пациента в кресле к открытому балкону, он подал ему бинокль. Марк-Ию-

ний не отнимал уже стекла от глаз.

Сейчас перед окнами раскинулся городской сад— «Villa Nazionale», за ним расстилался лазурный Неаполитанский залив.



Городской сад — «Villa Nazionale» в Неаполе.

Наведя туда трубку, помпеец, очень заинтересовался дымившимися среди парусных судов и рыбачьих лодок с пароходами; а направив инструмент на отдаленный Везувий, он еще более был озадачен проведенной на гору проволочной железной дорогой, по которой всползал только что поезд. Изумлению и

вопросам его не было конца, и сведущий по всем частям наставник едва успевал удовлетворять его ненасытную любознательность. Поневоле пришлось лектору отступить от своей программы, потому что движение парохода и паровоза нельзя же было растолковать без предварительного объяснения действия пара. Но эти отступления доставляли Скарамучии даже удовольствие. Как молодая мать с умилением любит первыми проблесками ума в своем детище, так умилялся он сметливостью своего «новорождённого» слушателя. Зараженный его молодым увлечением, он сам помолодел и увлекся.

С наступлением сумерек, когда на горизонте всплыла луна, профессор наставил на нее телескоп. То-то было опять восклицаний и вопросов! С луны разговор сам собою перешел на всю солнечную систему, на движение планет, на шарообразность земли; а там и на кругосветные путешествия, на открытие Америки Колумбом.

— От всех этих научных новостей у меня просто голова кругом идет! — признался Марк-Июний. — Для вас, новых людей, кажется-

ся, нет в мире ничего уже неизведанного?

— Да ты не узнал от меня еще и сотой доли всего, что знает у нас всякий школьник! — с торжествующим видом отвечал Скарамуцция. — Теперь-то ты, надеюсь, начинаешь убеждаться, что цивилизация наша чего-нибудь да стоит?

— Я преклоняюсь перед нею! О чем-то мы будем говорить с тобою завтра?

— А вот увидим. Ты немного спутал мне мою программу. Надо еще сообразить...

— Ах! скорей бы, скорей бы только настало завтра!

Читатели едва ли посетуют на нас, если мы не выпишем здесь дословно весь ряд лекций, которые выслушал от Скарамуцции его 1800-летний ученик. Скажем только, что в дружеской беседе, шутя, Марк-Июний ознакомился со всеми первостепенными изобретениями, составляющими гордость человеческого ума, как-то: с книгопечатанием, барометром, термометром, телеграфом, телефоном (благо, в кабинет профессора были тоже проведены телеграфная и телефонные проводки), с фонографом, фотографией, электриче-

скими тягой и освещением и проч., и проч., также с важнейшими историческими событиями, географическими открытиями и с главными началами современной механики, физики, химии и медицины. Когда же к ночи любознательный ученик, донельзя утомленный всею массою воспринятых им разнородных сведений, погружался в глубокий сон, наставник целые часы ещё просиживал над своим дневником, чтобы занести туда все сделанные за день драгоценные наблюдения. О! Эти наблюдения должны были дать ему материал к такому учёному труду, какого доселе свет не видал! Но, точно между ним и его «объектом» установилась уже таинственная духовная связь, его инстинктивно все тянуло к помпейцу. Сидя над дневником, он не раз вдруг вскакивал и на цыпочках подходил к спящему, чтобы осветить лампою его лицо, заглядеться на него.

«Что значит молодость и отборная пища! Ведь был скелет скелетом; а вон теперь в неделю с небольшим совсем расцвел — кровь с молоком. Какая правильность, какое благородство во всех чертах лица! Разрядить его в

живописный древнеримский плащ, так народ на улице останавливаться будет. Да что наружность! Сообразительностью он всякого также за пояс заткнет: так быстро ведь все схватывает, так метко возражает, что иной раз язык прикусишь... Ах, ты умница моя!»

В груди черствого ученого, закоренелого эгоиста вошло вдруг, зашевелилось совсем незнакомое ему дотопле теплое чувство — чувство дядьки к любимому питомцу, отца — к единственному сыну. Научный «объект» обратился для него в самого близкого и дорогого ему, живого человека.

«Ты будешь моей радостью, моей гордостью! — в приливе родительской нежности обещал сам себе Скарамуцциа. — Ты будешь моим преемником по науке — Марк-Июний Скарамуцциа!».

Помпеец, в свою очередь, — как с затаенным удовольствием замечал профессор, — питал к нему уже непритворное уважение. Тем не менее, внимание его не мало развлекалось доносившимися в открытый балкон уличными звуками: шумом экипажей, звонками конки и велосипедов, трубным воем мо-

торов, говором и смехом прохожих, также долетавшею из городского сада музыкой. Не раз он, среди самой серьезной лекции, срывался с кресла и подбегал к балкону. Скарамуцциа должен был насильно оттаскивать его назад, и в конце концов вовсе уже не открывал балкон.

— Но ведь все эти новые способы передвижения — совершенная тоже новость для меня! — говорил ученик. — Д и нынешние люди — новые...

— А ну их совсем, этих новых людей! — отвечал учитель. — Велосипед же я, так и быть, пожалуй, куплю для тебя; прокачусь с тобой как-нибудь на моторе. До времени же имей немного терпения: сперва теория, потом уж практика.

И Марк-Июний покорился. Однако, с ним произошла видимая перемена. Вначале такой отзывчивый, разговорчивый, шуточный, он стал теперь рассеян, молчалив и грустен.

— Что с тобою, сын мой? — решился наконец допытаться Скарамуцциа. — Здоров ли ты?

— Совершенно. С чего ты взял?

— Да ты как-будто нос опустил. Недостает тебе чего? Скажи. Кажется, наш век представляет житейских удобств гораздо более, чем твой век.

— М-да... — как-то не совсем убежденно согласился Марк-Июний. — Для вас, нынешних людей, не существует уже ни пространства, ни времени: быстрее голубя перелетаете вы моря и земли; выше орла возносите вы к небесам; за тридевять земель вы можете в один миг переслать весточку вашим друзьям и даже переговаривать друг с другом; всякий предмет вы можете тотчас отпечатлеть на бумаге, всякий звук задержать на лету; в искусственные стекла, вы видите и мельчайшую тварь, о которой мы, древние, даже понятия не имели, и бесконечно-отдаленные надзвездные миры; не выходя из дому, вы безошибочно определяете погоду на дворе: тепло ли там или холодно, будет ли завтра дождь или солнце; наконец, что всего дороже, — познания мудрецов всех веков и народов сделались у вас общим достоянием, потому что могут быть приобретены за небольшие деньги в любой книжной лавке, тогда как мы, бедные,

всякую книгу должны были собственноручно переписывать или покупать на вес золота...

— То-то же! — подхватил — Так ты, стало быть, не можешь, кажется, жаловаться на судьбу, что дожил до наших времён?

Марк-Июний подавил вздох.

— О чем же ты вздыхаешь?

— Ты не рассердишься на меня, дорогой учитель?

— Говори, не стесняйся.

— Вот, видишь ли. Если бы человеческое счастье заключалось единственно в том, чтобы пользоваться «плодами» вашей цивилизации, — то я, разумеется, почитал бы себя счастливейшим из смертных. Но, кроме материальной пищи — житейских удобств, кроме духовной пищи — наук, живому человеку нужна и пища душевная — самая жизнь, живые люди. А их-то я, можно сказать, до сих пор не видел.

— А я, а Антонио мой, значит, по-твоему не люди?

— Ты — не столько человек, как столп науки; Антонио же — раб, не человек. Нет, покажи мне настоящих людей...

— Эх, молодость, молодость! Что тебе в других людях? Повторяю, тебе: не стоят они внимания...

— Как не стоят? Они и родились-то, и выросли все в вашем идеальном, цивилизованном веке. Стало быть, по твоим же словам, все они довольны своей судьбой, все поголовно счастливы. Это должна быть такая Аркадия...

Скарамуцциа насупился и нетерпеливо перебил говорящего:

— Да, Аркадия, нечего сказать! Все, как волки, рады сожрать друг друга.

— За что? Почему?

— Потому что современный человек — самая ненасытная тварь. Чем более у него есть, тем более ему надо. Цивилизация его избаловала. Прибавь к этому человеческую дурь...

— Дурь? Но теперь, я думал, все так умны...

— Да, уж можно сказать! Наука неуклонно идет вперед, а человечество ни с места: по-прежнему на одного умника 99 дурней.

— Не слишком ли ты уже взыскателен, учитель? Ты меряешь всех по своей мерке. Не всем же быть учеными, как ты! Как бы то ни

было, еще раз прошу тебя: покажи мне их! Ты спрашивал меня: что со мною? здоров ли я? — Да, я здоров, но задыхаюсь. Воздуху, воздуху дай мне! Пусти меня на волю!

«А что, в самом деле? — сказал себе Скарамуцциа. — Герметически закупорить его от людей я не могу, да и не смею. Баланцони прав! А что он столкнется с другими, — не беда: чем скорее познает он пошлость людскую, тем скорее вернется к науке».

— Изволь, друг мой, — промолвил он вслух: — с теории перейдем на практику: я буду твоим ментором и повезу тебя по разным фабрикам и заводам. Дело только за платьем. Я предложил бы тебе один из моих европейских костюмов; но ты, вероятно, не захочешь явиться всенародно таким «скоморохом»?

— Ай, нет! избавь, пожалуйста.

— Так потерпи, пока портной сошьет тебе тунику и тогу.

— Не знаю, право, учитель, когда я рассчитаюсь с тобой: ты столько расходуешься на меня...

— Рассчитываться нам нечего: ты самим собою уже оплачиваешь мне все мои невели-

кие издержки.

Марк-Июний крепко пожал руку щедрого хозяина. — Нет, я не останусь у тебя в долгу.



Глава седьмая. Жизнь



Древний римский наряд, после тщательной примерки, был, наконец, готов. Живописный пурпуровый плащ, закинутый театрально через плечо, оказался удивительно к лицу молодому красавцу. Но на подбородке у него за это время успела вырасти темная щетина, а волосы на голове топорщились, и прежде чем показаться публике, Марк-Июний отдал себя в руки приглашённого в дом опытного парикмахера.

Усадив молодого человека перед зеркалом

и накинув ему на плечи пудермантель, парикмахер засуетился вокруг него.

Помпеец не без подозрительности следил за движениями парикмахера, который стал взбивать кисточкою в мыльнице мыло. Древним римлянам наше пенистое мыло не было еще известно, и лицо, для облегчения бритья, они смазывали себе смоляным маслом (dgorax). Но на нет и суда нет. Когда Марку-Июнию намылили щеки и подбородок, — он поморщился, но смолчал. Благополучно совершив над ним операцию брата, парикмахер подстриг ему волосы, прижег их в колечки, на помадил; потом ловко сорвал с него пудермантель и выразительным жестом показал, что все в исправности.

— И только-то? — спросил удивленный помпеец, оборачиваясь к профессору.

— Чего же тебе еще? — отозвался тот не менее удивленно.

— Как чего? А подровнять кожу пемзой, подвести брови, закруглить и окрасить ногти...

— Ну, уж не взыщи: у нас этого не полагается.

Марк-Июний пожал плечами: цивилизация, видно, не во всем пошла вперед, а кое в чем и поотсталала.

— Так вели ему, по крайней мере, пустить мне кровь, — сказал он.

— Бог с тобой! Крови в тебе и так-то слишком мало.

— Но в мое время кровопускание считалось одним из лучших кровоочистительных средств...

— Современная медицина изверилась в этом средстве, от которого больше вреда, чем пользы.

Помпеец не возражал, но, видимо, не совсем убедился в непогрешимости новейшей медицины.

Ну, что ж, идем, — сказал он, драпируясь в свой плащ. — А утро-то какое!

Утро, в самом деле, было восхитительное апрельское. Еще спускаясь с лестницы, Марк-Июний с упоением вдыхал в себя свежее дуновение ветра с залива. Но не успели они еще выбраться на улицу, как на нижней площадке заступил им дорогу репортер «Трибуны» Баланцони.

— Lupus in fabula (Что волк в басне)! Наконец-то я поймал вас с поличным, *signore direttore*! И хоть бы цидулочкой, по обещанию, предупредили!

Скарамуцциа, озадаченный и смущенный, стал оправдываться тем, что наблюдения его не окончены и не подлежат еще огласке.

— Пустяки, пустяки! — перебил его Баланцони. — Раз вы с ним появляетесь на улице, он делается уже общим достоянием.

— Да кто выдал вам вообще, *signore dottore*, что мы — сегодня как раз выходим из дому? Ужели мой Антонио...

— Нет, ваш Антонио, к сожалению, неподкупен и нем, как рыба.

— Так от кого же вы узнали?

— А портной ваш, а парикмахер на что? Вы куда это собираетесь?

— В аквариум.

— Великолепно! И я туда же с вами. *Tres faciunt collegium* (трое составляюь коллегию). Я буду служить вам громоотводом от всех моих коллег. А теперь позвольте мне познакомиться с вашим молодым другом.

И, немилосердно, но бойко коверкая ла-

тинскую речь, Баланцони отрекомендовался помпейцу, как известный писатель; затем попросил позволения сопутствовать им обоим на их прогулке.

— Очень рад, — с холодной вежливостью отвечал Марк-Июний.

От наблюдательного глаза репортера не ускользнуло, что его собственная щеголеватая небрежная внешность как-будто не внушает помпейцу особенного доверия.

— Не суди обо мне по внешности, — сказал он. — Диоген жил тоже в бочке и одевался в рубище. Но что же мы даром теряем время? Вперед!

Перейдя улицу, они вошли в городской сад и завернули в главную аллею. Необычный наряд помпейца не мог, конечно, не привлечь взоров гуляющей публики. С своей стороны и Марк-Июний с не меньшим любопытством оглядывал вблизи новых ему людей. Когда же он проходил мимо музыкального павильона, то вдруг остановился, как вкопанный: и струнный оркестр, и стоявший на эстраде, спиной к слушателям. Капельмейстер во фраке с раздувающимися от ветра фалдами и в

такт размахивающий своей дирижерской палочкой, — все поражало его своей новизной. Баланцони принялся было объяснять ему употребление отдельных инструментов, но Скарамуцциа подхватил своего ученика под руку и увлек к аквариуму.

При входе туда профессор счел нужным сделать небольшое введение о великом значении, какое имеет для науки неаполитанская зоологическая станция, первая в целом свете по разнообразию и красоте образцовых экземпляров морских животных.

Действительно, переходя от одного стеклянного резервуара к другому, Марк-Июний не мог налюбоваться на плавающий, копошащийся там меж камней и растений живой подводный мир — всевозможных гадов, рыб, раков, моллюсков самых причудливых форм. Более всего его заинтересовали крабы: как только сторож, по требованию Скарамуцциа, бросил к ним сверху пригоршню мелкой рыбы, крабы все разом с волчьей жадностью накинулись на лакомый корм и норовили вырвать его изо рта друг у друга. Ловчее, юрче других была самая мелкая порода этих мор-

ских хищников: схватив рыбку, они спешили незамеченно бочком-бочком прошмыгнуть за какой-нибудь утесик. Большие же заботились не только о себе самих, но и о своих паразитах — присосавшихся к их скорлупе слизняках в раковинах и, сами насытятся, терпеливо давали им также насытиться. Особенно забавен был большущий, на диво неуклюжий краб: в прожорливости своей он проглотил, видно, слишком крупный кусище, и тот застрял у него в горле, и вот, чтобы пропихнуть его куда следует, краб залез к себе в пасть клешней, да так неловко, что задел при этом свой собственный глаз и чуть-чуть не вывернул его себе из головы.

Из рыб всех красивее, пожалуй, были желтовато-зелёные, пятнистые мурены. Но Марк-Июний поспешил пройти далее.

— Постой! куда же ты? — сказал профессор.

— Я не могу их видеть... — отвечал помпеец. — У нас их кормили человеческим мясом...

— Да ведь только мясом пленных и рабов? — заметил репортер. — А устриц ты тоже

не жалуешь?

— Нет, устрицы я кушаю с большим удовольствием.

— Так я могу угостить тебя сейчас такими, что пальчики себе оближешь! На всякий случай я велел отложить для нас шесть дюжин, по две на каждого. Идем.

И, подхватив Марка-Июния под руку, Баланцони пошел с ним к выходу. Скарамуцциан ничего не оставалось, как последовать за обоими.

Из городского сада они свернули к заливу и берегом вскоре выбрались на набережную Санта-Лючия. Здесь были частью разложены на прилавках, частью навалены целыми грудами просто наземь «морские фрукты» — *frutti di mare*, т. е. такие же подводные обитатели Неаполитанского залива, каких они только-что видели в аквариуме.

— А вот и мой поставщик, — сказал Баланцони, хлопая приятельски по плечу довольно неопрятного на вид старика-торговца. — Нука, старичина, покажи, что ты для нас припас.

Торговец взял со стола кривой ножик, об-

тер его о свой грязный фартук и разрезал пополам пару лимонов, после чего принялся вскрывать одну за другой раковины и выковыривать оттуда устриц, — что делал (надо отдать ему справедливость) очень умело.

— Что же ты? Прошу! — пригласил Баланцони Марка-Июния, а сам, выжав кусок лимона над одной устрицей, с наслаждением препроводил ее в рот.

Нечистоплотность торговца отбила, казалось, у помпейца аппетит. Не желая, однако, обидеть своего нового знакомца-писателя, он проглотил одну устрицу, потом не спеша еще одну, и обтер себе губы.

— Только-то? — удивился Баланцони, который справился уже с целой дюжиной. — Сделай милость, не стесняйся.

— Благодарствую, — отказался Марк-Июний. — Боюсь испортить себе аппетит к обеду.

— А что, ведь, *signore direttore*, в самом деле, зададим-ка ему лукулловский обед в лучшем вашем ресторане Стараче в галерее Умберто. А? Пускай-ка сравнить с древними пиршествами.

— Пожалуй... — проворчал с полным ртом

Скарамуцциа, исправно уплетававший также свою долю устриц. — Вы поезжайте сейчас заказывать обед, а мы отправимся своим путем.

— Это куда?

— Так, по своим делам, а может быть и на обойную фабрику.

— Oibo (вот на)! Не нашли ничего интереснее?

— У нас с ним задумано целое научное странствие; начинаем же мы с обойной фабрики потому, что устройство её особенно наглядно. Да ты на что это так загляделся, мой друг? — обратился профессор к своему ученику, который между тем неотступно смотрел в сторону ряда многоэтажных, но чрезвычайно узких, в одно, в два-три окна, домов Санта-Лючии, разделенных друг от друга только тесными проулками.

— Какая теснота, какая запущенность! — проговорил Марк-Июний. — Жить там, должно быть, крайне нездорово.

Набережная Санта-Лючия в Неаполе.

— Да, это один из самых старых наших кварталов. Но эта передняя группа домов на-



мечена уже к сломке...

— ...Чтобы иностранцам, подъезжающим с моря, безобразием своим не слишком бросалась в глаза, — пояснил Баланцони. — Но с

художнической точки зрения все это даже очень недурно: это белье, развешанное через проулки с балкона на балкон до самой крыши, — те же праздничные флаги.

— М-да... — протянул помпеец. — Для меня это во всяком случае очень назидательно: простой народ, как видно, до сих пор живет так же бедно, как тысячи лет назад.

— А может быть и еще беднее, — подтвердил репортер. — Не хочешь ли убедиться поближе? Тут можно пройти насквозь в самый центр города.

Скарамуцциа попытался было воспротивиться, но безуспешно. Проникнув в один из полутемных проулков, они должны были на каждом шагу глядеть себе под ноги, чтобы не поскользнуться, потому что по всему их пути бабы с засученными рукавами и подоткнутыми юбками стирали белье, орошая кругом мостовую целыми потоками грязной мыльной воды. Это была, так сказать, общественная прачечная под открытым небом, где внизу стирали, а наверху сушили белье на солнце.

Марк-Июний, промочив и запачкав себе свои новые сандалии, был очень доволен, ко-

гда — выбрался, наконец, в более сухую местность. Здесь было и более разнообразия в народной жизни. Мелкие ремесленники занимались своим делом по большей части на улице перед входом в свои темные логовища. На порогах домов, а то и на вынесенных на тротуар стульях сидели женщины с рукоделем, болтая с соседками. Тут молодая девушка, не стесняясь прохожих, заплетала свои пышные косы и, кокетливо сверкая своими черными глазами, перебрасывалась шутками с остановившимся перед нею молодым парнем. Там почтенная матрона усердно искала чего-то в голове своего полунагого ребенка.

— Ну, что? Каков теперешний народ наш, а?

— Народ как будто все тот же милый, добродушный, беспечный, — отозвался помпеец, — Но эта беднота, эта грязь!..

— Грязь — родная сестра бедноты. *Naturalia non sunt turpia* (естественное не постыдно). А вот и наш народный рынок.

— Великие боги!

То, что представилось здесь глазам Марка-Июния, действительно, могло озадачить,

ошеломить свежего человека. Вся площадь кругом кишела самым серым людом, одетым крайне бедно, неряшливо, а то и просто в лохмотья.



Уличные сцены в Неаполе.

Уличная торговля в Неаполе.

В воздухе стоял неумолкающий гомон от тысячей голосов. Всякий старался перекрыть других, потому что на всем пространстве площади шла самая оживленная продажа и меновая торговля; предметами же торга были всевозможное старье, разные овощи и плоды,



рыба и мясо последнего сорта.

Вон разносчик-помидорщик продовольствовал зараз несколько человек: на куски белого хлеба он накладывал им красные ломтики помидоров, которые сверху обливал затем янтарного цвета оливковым маслом. И ведь как смачно те закусывали! Масло так и капало с пальцев на землю.

Рядом табачник не менее успешно торговал сигарными окурками, которые тут же закуривались, распространяя едкий, нимало не благоуханный дым.

— Откуда у него эта куча окурков? — удивился помпеец.

— А есть у него на послугах мальчишки, которые по ночам с фонарем подбирают окурки в канавках, — отвечал Баланцони. — О, у нынешних итальянцев ничего не пропадает!

Пробираясь далее, они наткнулись на уличного ресторатора. На жаровне у него пеклись каштаны; рядом кипели два больших котла. В одном варилась кукуруза, а из другого ресторатор исполинской ложкой выуживал длинейшие тесьмы тягучего горячего теста. Марк-Июний остановился, чтобы узнать,

как-то потребители справляются с такой штукой. А справлялись те прекрасно: схватив тесьму большим и указательным пальцами, они втягивали ее в себя не торопясь, с видимым наслаждением, после чего еще облизывались и причмокивали.

— Это — макароны, наше первое национальное блюдо, — объяснил Баланцони.

— Прикажете? — любезно обратился к ним ресторатор, размахивая своей ложкой, как магическим жезлом. — *Punto serimonie, Vossignoria* (не церемоньтесь, ваша милость)!

— Нет, не нужно, — коротко отказался за всех Скарамуцциа. — Ну, Марк-Июний, теперь, нам пора... А с вами, *signore Balanzoni*, мы встретимся в галерее Умберто, — так, часа через два. Эй, веттура (коляска)!

Едва веттура вывезла их с рыночной площади в ближайшую улицу, как из-за угла на них налетела гурьба уличных ребятишек и запрыгала около экипажа с протянутыми руками и притворно-жалобным криком:

— *Signori, un soldo! Una piccola moneta!* (Синьоры, грошик! Одну маленькую монетку!)

— Пошли вы, пошли! — незлобиво отгонял

их веттурино (извозчик), пощелкивая для виду своим длинным бичом.

— Брось им что-нибудь, учитель! — попросил помпеец.

— Это родители приучают их сызмала попрошайничать, — сухо отозвался профессор. — Потакать им грех.

В это время один шустрый мальчугашка, чтобы обратить на себя более внимания, перекинулся несколько раз колесом, а потом опять протянул ладонь.

— *Una piccola, piccola moneta!*

— Ну, дай хоть этому-то! — попросил опять помпеец. — Какой ведь искусник!

Профессор нехотя бросил искуснику медную монету. Тот поймал ее налету и затащил звонко на оперный мотив:

— *Grazie, signore! grazie, signore!*

И вся орава, смеясь, подхватила ему под тон:

— *Grazie, signore!*

— Вишь, какие славные, веселые! — умилился Марк-Июний. — Но что-потом-то из них, бедных, выйдет!

— Выйдут такие же ленивцы и тунеядцы,

как их родители, — проворчал Скарамуц-ца. — Народ наш вконец опустился. Тебе все хотелось жизни. Но разве это жизнь? В настоящее время жизнью у человека может называться только служение науке. Большинство служит ей, правда, только механически: двигателями являемся мы, избранники науки. Сейчас вот ты увидишь такую одухотворенную наукою жизнь людей низшего разбора.

Они въехали в фабричный квартал. Еще улица, другая, — и веттура остановилась перед мрачным кирпичным зданием обойной фабрики.

При самом входе на фабрику, их охватило тяжелым запахом клея, красок и жилья. Содержалась фабрика довольно неопрятно; а самые условия производства еще более отравляли в ней воздух, и все рабочие: мужчины, женщины и дети, имели изнурённый, больной вид. Следуя за своим ментором из отделения в отделение, Марк-Июний рассеянно прислушивался к его объяснениям: поголовная болезненность этих «механических служителей науки» производила на него удручающее впечатление.

— Я не могу спокойно видеть этих — несчастных! — заметил он. — А эти подростки — краше в гроб кладут! Доживут ли они еще до взрослого возраста?

— Сомнительно, — отвечал Скарамуцци. — Но что же, любезный, делать? Без жертв не обходится никакой успех цивилизации.

— Да в чем тут цивилизация? В пестрой бумаге, которую вы оклеиваете ваши комнаты? Неужели, по-твоему, это тоже — служение науке, настоящая жизнь? Это — жертвоприношение, но не богам, а вашей же людской прихоти. Помочь этим беднякам я один, разумеется, не в силах. Но, глядя на них, сердце кровью обливается. Уйдем, пожалуйста!

— Да я не все еще показал тебе...

— Уйдем, сделай такую милость!

— Ты, сын мой, может быть, проголодался?

— Да, да! Тот писака верно ждет уже нас.



Глава восьмая. Последние слова цивилизации



Репортер, действительно, уже поджидал их при самом входе в галерею Умберто.

— Наконец-то! — воскликнул он. — А эти господа уже напали на наш след!

— Ваши коллеги? — спросил Скарамуцциа.

— Да. Они сидят уже в ресторане.

— Так не убраться ли нам сейчас в какой-нибудь другой ресторан?

— Ни к чему не послужит: вон, видите, один соглядатаем издали наблюдает за нами. И я буду держать их в почтительном отдалении.

Они вошли в ресторан.

— Garzone (человек)! — повелительно крикнул Баланцони.

Расторопный гарсоне отодвинул для каждого из них стул около небольшого углового

стола, уставленного уже целой батареей вин и серебряным холодильником с тремя бутылками шампанского, а затем упорхнул за кушаньем.

В ожидании Баланцони навел разговор на великое значение печати.

— А сам ты, скажи, в каком роде пишешь? — спросил Марк-Июний. — В идилическом или сатирическом?

— Как тебе сказать?.. — замялся репортер. — Скорее в сатирическом: я описываю жизнь изо дня в день, как она есть. Я, так сказать, — муравей печати.

— Прости, но я тебя не совсем понимаю.

— Современная печать, видишь ли, или попросту газеты (потому что газеты поглотили теперь весь интерес общества) — это муравейник, где каждый из нас, муравьев, собирает для своих ближних соломинки и зернышки — мельчайшие новости дня со всего света и этими новостями связывает, можно сказать, все человечество в одну родственную семью.

Говорилось все это с пафосом, чтобы сразу внушить помпейцу должное уважение к «му-

равьям печати»; но расчёт пока не оправдался.

— В чем же могут заключаться ваши мировые новости? — сдержанно спросил его наивный слушатель.

— Прежде всего, разумеется, в международных вопросах, вопросах войны и мира.

— Так войны бывают еще и до сих пор, несмотря на всю вашу цивилизацию?

— Чаще и истребительнее, чем когда-либо прежде. Не проходит месяца, чтобы не изобрели нового снаряда, нового средства к истреблению людей массами. А мы, застрельщики цивилизации, — продолжал он, с самосознанием указывая на висевший у него на часовой цепочке карандаш-пистолетик, — мы вот этим мелким, но метким оружием разносим славу изобретателей по всему свету.

— Славу людей, которые способствуют истреблению себе подобных? — сказал Марк-Июний. — Личное мужество, значит, потеряло у вас уже всякую цену? Храброму человеку нельзя уже пожертвовать собою для отечества? И ежедневное воспевание этого-то варварского способа расчёта с врагами вы счита-

ете чуть ли не подвигом?

Баланцони поморщился.

— Войны в принципе я сам не одобряю, — сказал он, — но если люди раз воюют, так как же об этом молчать? Впрочем, и кроме войны, мало ли у нас еще других, мирных сюжетов.

— И столь же благородных, — с иронией подхватил тут Скарамуцциа: — как-то: убийства, поджоги, мошенничества...

— А что же прикажете делать бедному люду? Чем цивилизованнее народ, тем у него более потребностей, тем более ему нужно на удовлетворение их средств. Борьба за существование! Но мы застрельщики, следим неусыпно, чтобы никто чересчур уже не забывался.

— Бедное человечество! — сказал Марк-Июний, которому вспомнились при этом бледные, исхудалые лица бедняков. — Люди, как я вижу, благодаря вашей цивилизации, сделались только кровожаднее, преступнее и несчастнее... Вон хоть этот молодой человек, — продолжал он пониженным голосом, кивая на сидевшего неподалеку бледного, ху-

дощавого юношу, не сводившего лихорадочного взора с их стола. — Как он жадно сюда смотрит, точно голодал целые сутки.

Баланцони рассмеялся.

— Слышали, Меццолино? — отнесся он к бледному юноше. — У вас такой вид, точно вас не кормили целые сутки.

Но юноша, казалось, только и выжидал случая, чтобы завязать разговор с обедающими. Он подошел к ним с развязным поклоном и обратился прямо к Скарамуцции:

— Очень счастлив, что могу лично представиться вам, *signore direttore*. На днях я имел честь оставить у вас мою карточку: репортер «Утра», Меццолино.

Не договорил он, как из-за других столов одновременно вскочили еще три личности и двинулись также к Скарамуцции.

— Позвольте и мне отрекомендоваться, — заговорили все трое разом: — репортер здешнего «Курьера», Бартолино; репортер «Жала», Педролино; репортер «Родины», Труфальдино.

Нападение их было предусмотрено опаснейшим соперником их, репортером римской «Трибуны». Решительным движением руки

Баланцони остановил их дальнейшее наступление.

— Я уполномочен, господа, объявить вам, что ни один из нас тут за этим столом не расположен нынче к общественности, что мы, как замкнутое общество, существуем только друг для друга.

— Но не сами ли вы, синьор Баланцони, такой же репортер... — начал Меццолино.

— Репортер — да, но не такой же, извините! Римская «Трибуна» читается всей Италией... Наши объяснения, я полагаю, кончены!..

Взоры четырех подошедших репортеров, как бы ища поддержки, обратились к Скарамучции. Но тот, делая вид, что не слышит их спора, занялся черепашью супом, который между тем подал гарсоне. Бормоча что-то под нос, репортеры должны были обратиться вспять.

Подошедшая в это время к обедающим молодая цветочница с обворожительной улыбкой подала каждому из них по букету фиалок.

Баланцони первый продел свой букетик в петлицу.

— Не правда ли, — похвальный обычай у

нас — украшаться цветами? — заметил он помпейцу.

— Не переняли ли вы его от нас, древних? — отозвался Марк-Июний. — Мы украшались за обедом даже целыми венками. Самый обед от этого как-то вкуснее.

— Ничуть! — проворчал Скарамуцциа. — Не все ли одно: как и что есть? Было бы сытно.

— Нет, изящество, красота придает всему большую цену, — возразил помпеец: — в мое время, по крайней мере, еда была одним из эстетических удовольствий жизни. Мы приступали к обеду чинно, как к некоему таинству: освежались предварительно ванною, натирались благовонными эссенциями, увенчивались цветами. Обедали мы тоже не сидя, как вы, на стульях, чтобы скорее только перекусить и бежать опять без оглядки по своим домам. Нет, мы возлежали на подушках мягко и удобно. А как подавалось нам каждое блюдо! Жареные павлины и фазаны во всей роскоши своих перьев пирамидами возвышались перед нами. Рабы наперерыв подливали нам сладких вин. Арфы и лиры услаждали

наш слух. Индийские танцовщицы пленяли наш взор. Шуты и скоморохи потешали наше сердце. Кровь в жилах кружилась все быстрее; на душе становилось все светлее. И только к ночи, при свете факелов, расходились мы, тяжело опираясь на своих рабов...

— Punctum! Sapienti sat (Точка! Для разумного довольно)! — прервал Баланцони, делая ремарку на своей манжетке. — В эстетике еды мы, точно, от вас поотстали: на все это надо большие деньги, а их-то теперь ни у кого нет. Но готовить кушанья у нас тоже таки умеют. Что же ты не ешь, любезнейший? не нравится, что ли? Это одно из самых тонких наших яств — майонез из дичи.

Марк-Июний, с видимой предубежденностью отведав незнакомого яства, отодвинул от себя тарелку.

— С меня довольно, — отговорился он.

— Так запей, по крайней мере. Вино-то наше хоть не хуже вашего.

И с этими словами репортер налил ему полный стакан вина, после чего спросил, как ему понравилось на обойной фабрике. Узнав же о тяжелом впечатлении, вынесенном от-

туда помпейцем, он ему с горячностью под-
дакнул:

— Ну, да! совершенно то же, что я уже сто
раз твердил. Людьми жертвовать для нищен-
ского украшения домов! То ли дело ваша
древняя стенная живопись...

— Которая стоила во сто раз дороже обоев
и была едва ли красивее! — возразил Скара-
муцциа.

— Извини, учитель, — вступился Марк-Ию-
ний. — Обои — ремесленный продукт, тогда
как картина — продукт художественного
вдохновения, чистого искусства.

— А и для рисунка обоев, друг мой, требу-
ется известная доля вдохновения и искусства.

— Но узор на них постоянно повторяется...

— Да, но в этом-то и главное их достоин-
ство: повторяющейся гармонией линий и
красок они приятны глазу, но без надобности
не развлекают внимания. Ну, хочешь видеть
раз отдельную картину, так вот на, любуйся!

Он указал на висевшую на стене эффек-
тную олеографию в золотой рамке.

— А в самом деле, какая замечательная
живопись! — сказал Марк-Июний. — Вот, под-

линно, предмет чистого искусства!

— Не правда, ли? А знаешь ли, что в сущности это — такой же ремесленный продукт, как и обои, простая только копия.

И ученый наш тут же объяснил способ печатания олеографий.

— Но копия эта, — заключил он, — стоит даже выше своего оригинала, ибо во 100 раз его дешевле и доступна самым недостаточным людям. Это одно из последних слов цивилизации.

— Вы умалчиваете, однако, о главном, — вмешался Баланцони, — что на олеографию можно смотреть только издали: вблизи сейчас разглядишь, что это ремесленный продукт, слабое подражание. Кроме того, олеографии крайне непрочны, потому что отпечатаны на простой бумаге, да и скоро линяют от света, тогда как настоящие масляные картины, писанные на полотне, переживают века, и подлинными картинами какого-нибудь Рафаэля, Тициана, Леонардо-да-Винчи мы восхищаемся точно так же, как восхищались ими наши, деды, как будут восхищаться ими наши внуки.

— Так и теперь, значит, есть еще ценители чистого искусства? — встрепенувшись, спросил Марк-Июний. — Где же можно видеть такие подлинный картины?

— В картинных галереях.

— Вот если-бы мне также побывать в такой галерее!

— А что же, завтра же, если желаешь, съездим с тобой в нашу национальную галерею.

Скарамуцци собирался протестовать, как вдруг из глубины ресторана послышалось пение. Пел всего один женский голос, но это было чудное сопрано, выделявавшее с необычайной легкостью удивительные фиоритуры.

Помпеец побледнел как полотно, схватился рукою за сердце, да так и замер на стуле.

— Что с тобой, мой сын? — заботливо спросил его профессор.

— Молчи, молчи... — прошептал Марк-Июний. — Это совсем её голос...

— Чей?

— Да покойной Лютеции...

Баланцони рассмеялся.

— Так ты и не подозреваешь, что это такое? Это просто граммофон.

— Не мешайтесь, пожалуйста, не в ваше дело! — строго заметил профессор и обратился снова к своему ученику. — Граммофон — также из последних слов цивилизации. Я как-то объяснял уже тебе его конструкцию. Вон, видишь, — огромная металлическая труба: звуки исходят прямо оттуда.

Марк-Июний облегченно перевел дух.

— А я было уже думал... — проговорил он. — Но чей же голос уловили в этот аппарат?

— Ну, этого, не взыщи, сказать тебе я не умею. В музыке я профан. Синьор Баланцони! как зовут ту синьору, что поет нам из граммофона?

— Ужели вы не узнаете нашу диву Тетрацини? — воскликнул репортер. — Да после Патти это первое в Европе колоратурное сопрано. В граммофоне, правда, выходит не совсем то: слышится что-то чужое, металлическое. Но завтра, Марк-Июний, ты можешь услышать ее самое: она поет в театре Сан-Карло, притом в лучшей опере Россини «Вильгельме Телле».

Скарамуцци начал было доказывать, что

граммофон даже предпочтительнее театрального представления, потому что механически воспроизводит то, на что без толку тратятся силы сотни людей и бешеные деньги. Но разгоряченный уже вином ученик не хотел его слышать.

— Не нужно мне вашей механики! дайте мне чистого искусства! — говорил он, и сам уже налил себе полный стакан.

— Не пей столько, сын мой, — остановил его профессор — ты ничего ведь почти не ел.

— Да, не пей этой дряни, — подтвердил Баланцони: — я угощу тебя сейчас таким нектаром, которого ты еще в жизни не пивал.

И в бокалах запенился игристый напиток Шампаньи. Баланцони чокнулся с Марком-Июнием.

— Да здравствует искусство!

Тот с энтузиазмом поддержал тост и одним духом осушил бокал.

— И то ведь нектар, клянусь Гебой! — вскричал он и с такой силой хватил кулаком по столу, что стаканы и бокалы запрыгали и зазвенели:

— «Nunc est bibendum! nunc pede libero

Pulsanda tellus»...[4]

Помпеец, очевидно, совсем захмелел. Давно уже сделался он центром всеобщего внимания обедавших в ресторане. Когда же он затянул свою застольную песню, кто-то крикнул:

— Браво!

Несколько голосов со смехом тотчас подхватило этот крик:

— Браво! брависсимо! Дасаро!

Скарамуццию покорило; он тронул ученика за руку.

— Потихе, милый мой! Ты забываешь, что мы в общественном месте.

— Ах, оставь меня! — сказал Марк-Июний, вырывая руку, и круто обернулся к Баланцони: — Ты что это делаешь?

Тот усердно строчил что-то карандашом пистолетом на своей манжетке.

— А записываю твою песенку.

— Это зачем?

— Затем, чтобы она не пропала для моих соотечественников.

— Завтра вся Италия будет знать каждое твое слово, — с горечью пояснил Скарамуц-

циа.

Помпеец вскочил из-за стола.

— Ну, нет, этого я не желаю! Уйдем отсюда, учитель...

— Ты, пожалуйста, не принимай так близко к сердцу, — сказал Баланцони: — как передовой застрельщик печати, я, согласись, не могу не поделиться с другими такою прелестью...

Марк-Июний, не слушая, схватил профессора за руку и увлек его вон из ресторана на галерею. Репортер, пожав плечами, поплелся вслед за обоими, но тут его нагнал ресторанный гарсоне.

— А деньги-то, с кого прикажете получить?

— С кого же, как не с синьора Скарамуцци? — отвечал Баланцони. — Он угощал нас. Счет можете послать ему на дом.

Марк-Июний тем временем выбрался из галереи и остановился на минутку на верхней ступени, чтобы вдохнуть в себя свежую струю воздуха полною грудью. Вдруг с противоположной стороны улицы на него наводят фотографический аппарат!

— Да что это, не меня ли уже снимают? — вскричал он.

— Готово! Вот это по-нашему! — услышал он за собой веселый голос Баланцони. — Как ласточку, ведь, налету подстрелили! Тоже застрельщик, только другого оружия.

Подкативший тут веттурино спас помпейца с его наставником от дальнейших покушений «застрельщиков».



Глава девятая. Триумфатор



Прибыв домой, Марк-Июний, по совету своего хозяина, прилег, чтобы отдохнуть от массы разнообразных впечатлений первого дня среди «новых» людей, да так и проспал до следующего утра. Не смотря на продолжительный сон, он встал с тяжелой головой и довольно бледный, так что Скарамущиа решил продержатъ его этот день дома. Но он не принял в расчёт неодолимого «застрельщика», репортера «Трибуны». Напрасно Антонио, заслонив собою дверь, уверял последнего, что господа никого не принимают.

— За исключением меня, потому что я свой человек, — самоуверенно сказал Баланцони и, оттолкнув в сторону камердинера, влетел прямо в кабинет хозяина.

— Доброго утра, господа! Я боялся, что, пожалуй, уже не застану вас. Читали вы нынеш-

ние газеты? Нет? И на улицу еще не выходили? Так у меня для вас две самые свежие новинки. Вот первая — моментальный снимок.

Он подал помпейцу фотографическую карточку кабинетного формата. Бледные щеки молодого человека покрылись густым румянцем: он увидел, в точной копии, самого себя, поддерживаемого под руку профессором, а позади их обоих — смеющегося репортера.

— И эту картинку может теперь купить на улице всякий? — спросил он.

— Всякий, кому не жаль пяти лир. Аферист тоже этот фотограф: знал, ведь, назначить цену! Завтра, понятно, сбавит.

— Но этак все на меня пальцем показывать будут...

— Ты — герой дня; так как же иначе? А печать завершила твое торжество. Вот вторая моя новинка; слушай.

Он достал из кармана пачку газет, развернул одну газету и стал переводить поллатыни.

— Да тут и на половину нет правды! — возмутился Марк-Июний.

— Речь без красного словца — что еда без перца. Погоди, что будет еще в «Трибуне!» Се-

годняшний номер мы получим из Рима, к сожалению, только завтра.

— А вы сообщили туда по телеграфу? — спросил профессор.

— Как же иначе? Целый фельетон.

— Но теперь мне стыдно будет на улицу показаться... — пробормотал помпеец.

— Стыдно? — удивился репортер. — Какой же ты после этого герой? Напротив, теперь-то тебе и глядеть орлом; вот я, дескать, какой. И я нарочно заехал за тобой так рано; ведь до обеда нам нужно осмотреть еще весь национальный музей.

— А что ж, мой друг, предметы искусства тебя и то, пожалуй, рассеют, — заметил профессор.

И вот, они втроем катят уже в коляске, по направлению к национальному музею, улицей Толедо, этой главной артерией городского движения.

Улица Толедо в Неаполе.

Непривычного человека и в иное время могло оглушить этим грохотом экипажей (в Неаполе не знают резиновых шин), хлопа-



ньем бичей, звонками трамвая и велосипедистов, мычаньем моторов, возгласами разносчиков. Сегодня же весь этот хаос уличных звуков старались еще из всех сил перекричать газетчики, на всех углах и перекрестках махавшие своими газетами:

— Сюда, синьоры! небывалый номер: о воскресшем помпейце!

Посреди же улицы, с особенною торжественностью расхаживали продавцы фотографий: на громадном, двухаршинном шесте

каждый из них нес перед собой, как победное знамя, портрет Марка-Июния в натуральную величину и орал также во все горло:

— Новейшее чудо! воскресший помпеец! Две лиры за мелкий формат, пять лир за кабинетный! Купите, купите! Восьмое чудо света! воскресший помпеец!

И «небывалый номер» газетчиков раскупался нарасхват; к продавцу «восьмого чуда» протягивались руки с тротуаров, из проезжающих экипажей.

— Давай его сюда, твоего помпейца!

Тут вдруг заметили едущего мимо подлинного помпейца.

— Per Dio! Да вон и сам он! сам помпеец!

И все прохожие, все проезжающие направо и налево уже оборачиваются к нему, не то приветливо, не то насмешливо кивают ему.

— Доброго утра, синьор помпеец!

По тротуарам народ бежит вприпрыжку рядом с ним, чтобы только не упустить его из виду: позади экипажа валит целая свита зевак, больших и малых.

— Да здравствует помпеец! Evviva!

А вот в коляску — летят и букетики живых

цветов. Правда, что продавцы этих цветов бегут также за коляской с протянутой рукой, и Баланцони, расщедрившись, бросает им несколько сольди из собственного уже портмоне.

— Чем не триумфатор? — говорил он. — В древнем Риме не один из твоих старых приятелей позавидовал бы тебе!

Марк-Июний, однако, был не столько польщен, как смущен.

— Нет, наши триумфаторы принимались совсем иначе... — промолвил он.

— А как же?

— Звуки труб, рожков и флейт... Гирлянды цветов на дверях и воротах... Мостовая устлана розами... Треножники пылают; алтари, курильницы дымятся... По всему пути шествия улицы с ранней зари запружены несметною толпою; окна и крыши заняты зрителями... И вот издали доносятся радостные клики. Клики растут, обращаются в один несмолкаемый гул. Толпа заволновалась, как бурное море. Процессия приближается. Впереди — длинная вереница победных колесниц с военной добычей; за ними — такая же вереница вся-

ких диких зверей в цепях и клетках; толпы пленников и пленниц в тяжелых оковах, могучий жертвенный бык, жрецы и Pontifex maximus (верховный жрец): наконец, и победоносное войско, когорта за когортой, во всеоружии, в лавровых венках и с масличными ветвями; и после всех — сам триумфатор в золотой колеснице, — не развалившись на мягких подушках, как я с вами, а гордо стоя и правя своими белыми конями. Глава его увенчана лаврами, и стоящий за ним раб держит еще над ним золотой венец с драгоценными камнями. А с крыш и из окон, по всему пути, при оглушительных криках восторга, сыплется на него нескончаемый дождь венков и цветов...

— Что за картина! садись да пиши! — сказал Баланцони, жадно прислушивавшийся к отрывочной, вдохновенной речи помпейца.

— Так что же вы не пишете? — заметил Скарамуцциа, довольный, казалось, уже тем, что движение экипажа не давало репортеру тотчас записать слышанное.

— Записано, не бойтесь, — отозвался Баланцони и ткнул себя пальцем в лоб: — вон

тут.

Коляска остановилась перед национальным музеем. Валившая сзади шумная толпа мигом окружила помпейца с его двумя спутниками, и те не без труда пробились на подъезд. Но и здесь им не удалось отделаться от докучного конвоя. Большинство этого разношерстного сброда, толкаясь и сшибаясь в дверях, последовало за ними в музей. Швейцар, испуганный таким небывалым наплывом публики, попытался было впускать ее с некоторым разбором; но несколько оборванных уличных мальчишек, которых он насильно высадил на улицу, с визгом и свистом тут же разбили камнями стекла в дверях и ближайших окнах. Подоспевшие полицейские разогнали маленьких буянов.

Неаполитанский национальный музей — единственный в своем роде: это — хранилище всех древностей, найденных в окрестностях Неаполя, в том числе и в Помпее. Немногие лишь помещения отведены под картины и скульптуры сравнительно позднейших времен (начиная с Рафаэля).

Баланцони провел нашего помпейца пря-

мо в залы средневековой итальянской школы живописи. Однако, эти произведения знаменитейших мастеров не производили, по-видимому, на Марка-Июния никакого впечатления. Довольно рассеянно слушал он и объяснения «доктора изящных искусств» о том, что каждую из этих знаменитостей можно легко признать по некоторым отличительным признакам: Рафаэля — по неземному, загадочно-мечтательному выражению его мадонн, Микеланджело — по мясистым фигурам, Тициана — по рыжеволосым красавицам, и т. д.

— Да что же ты сам-то ни слова не скажешь? — спросил наконец Баланцони. — Неужели эти картины, по-твоему, не хороши?

— Хороши... — как-то нерешительно отвечал помпеец.

— Ты не договариваешь?

— Да глаз мой, должно быть, к ним еще не пригляделся. Ко всему новому надо сперва привыкнуть. Ведь все они написаны кажется, просто на холсте?

— Понятно.

— Для меня это вовсе не так уже понятно. В мое время картины писались прямо на сте-

не фресками...

— Что и естественнее, и прочнее! — подхватил Скарамуцциа, обрадовавшийся, что речь перешла снова на излюбленный им древности. — Не хочешь ли, мой друг, сейчас сравнить?

— Сейчас?

— Ну да, стоит только пройти в помпейский отдел.

— Здесь же, в музее?

— Да; ты найдешь там, — разумеется, кроме зданий. — всю свою Помпею, даже фрески.

— Как! вы вырезали их из стен? Да ведь это такое варварство...

— Что поделаешь, мой милый? Такие уж времена!

Любители древностей выцарапали бы, пожалуй, и фрески, как растащили не мало-таки — предметов искусства.

— На этих господ любителей не хватило бы и десяти Помпеи! — подхватил Баланцони. — Спасибо еще, что у нас в Неаполе так искусно подделывают теперь помпейские древности: даже знатоку не легко отличить подделку от оригинала.

— И подделки эти продаются совершенно открыто?

— В магазинах, да; но само собою разумеется, что покупателям они предлагаются за подлинные древности.

— Да это же обман, преступное мошенничество!

— Гм; *mundus vult decipi, ergo decipiatur* (свет хочет быть обманутым, да будет же он обманут). Покупатели при том — все больше из богатых иностранцев; и им приятность и нам нажива. Обоюдное удовольствие!

В таких разговорах Марк-Июний незаметно очутился в помпейском отделе музея.

Здесь скоплена вся подвижность отрытой из-под пепла Помпеи.

Кроме бесчисленных статуй из мрамора и бронзы, свидетельствующих о высоком развитии изящного вкуса за тысячи лет тому назад, здесь есть немало предметов, наглядно иллюстрирующих тогдашние обычаи и домашний быт, как-то: разнообразные украшения женского туалета, воинское оружие, посуда и разная утварь; даже съестные припасы: окаменелые хлеба, зерна, яйца, грецкие оре-

хи, чернослив. Кроме подвижности, есть кое-что и недвижимое из области искусства: мозаичные полы и стенная живопись. Наконец, есть и представители тогдашнего человечества: окаменелые группы помпейцев, застигнутых врасплох землетрясением и живьем засушенных вулканическим пеплом.

К какому бы народу и сословию вы ни принадлежали, какие бы умственные или житейские интересы и занимали вас, но раз очутившись посреди этого давно погибшего и вдруг как бы вновь восставшего мира, вы на время забываете действительность и всецело переноситесь в ту древнюю эпоху. Что же должен был испытывать Марк-Июний среди этой родной ему обстановки?

Как в полусне, с растерянным видом, бродил он из зала в залу. Неугомонный Баланцони в начале взял на себя роль комментатора. Но Скарамуцци очень решительно попросил его замолчать, и репортер, видя, что и без того цветы его красноречия пропадают даром, с презрительной усмешкой умолк.

Точно неодолимая сила гнала Марка-Июния все вперед да вперед. Как вдруг он

вскрикнул и остановился. Внимание его приковала фреска, изображавшая Юнону в беседе с Юпитером.

— Ты видишь эту картину, верно, не в первый раз? — тихонько спросил его профессор.



Зала бронзовых статуй из Геркуланума и Помпеи в Неаполитанском национальном музее.

Помпейская фреска: «Беседа Юнона с Юпитером».



Помпеец, погруженный в созерцание кар-

тины, глубоко вздохнул.

— Сколько раз я стоял уже перед нею! — прошептал он. — Ведь это было лучшее украшение триклиниума (столовой) моей бедной Лютеции! Этот божественный взор Юноны по-прежнему проникает в самое сердце. Но Юпитер... — что с ним случилось!.. О, варвары, варвары!

Между тем толпа любопытных, неотступно двигавшаяся за помпейцем из зала в зал, все ближе и плотнее обступала его с двумя его спутниками. Два англичанина-туриста в клетчатых летних костюмах, с биноклями в футлярах через плечо и с неразлучными краснокожими путеводителями в руках, заслонили своими неповоротливыми, долговязыми фигурами даже фреску, чтобы удобнее заглянуть в лицо нашего живого мертвеца, и справлялись в своих книжках, будто проверяя его подлинность. Другие зрители, из итальянцев, преспокойно ощупывали его плащ, а потом не без сердечного содрогания хватали его самого и за руку.

— Да он, господа, совсем теплый!

— А и вправду ведь, живехонек!

Такая бесцеремонность возвратила Марка-Июния опять к действительности.

— Скоро, кажется, мне и руки оторвут! — сказал он.

— Да, милый мой, — отвечал репортер, — на то ведь ты и триумфатор! В театре тебе нынче, вперед говорю, будет не такая еще овация...

— Так я лучше вовсе не пойду туда...

— И не услышишь даже Лютеции-Тетрацини?

— Ты прав: услышать ее я должен непременно!

— То-то же. Да и билеты уже взяты. Вот, *signore direttore*, на всякий случай получите ваши два билета.

— А счет вы потом представите? — не без колкости спросил Скарамуцциа.

— Не премину, почтеннейший, будьте покойны.

Площадь Кавура в Неаполе.



Глава десятая. Травля



Было за четверть часа до начала представления, и огромный театральный зал был еще довольно пуст, когда Скарамущия ввел туда своего взрослого питомца. Ему хотелось еще до спектакля прочесть помпейцу на ме-

сте небольшую лекцию об акустике современных театров. Но, пробираясь между кресел к своему месту, он, к неудовольствию своему, увидел, что ошибся в расчёте, что лекцию придется отложить до другого раза: Баланцони был уж тут как тут и прелюбезно кивал навстречу Марку-Июнию.

— Отлично, любезнейший, сделал, что забрался спозаранку: я успею еще рассказать тебе содержание «Вильгельма Телля». Слушай.

— Полноте, *signore dottore!* — сердито перебил Скарамуцциа. — Россини в своей опере совершенно исказил драму Шиллера...

— Положим, что так; но действие-то в ней всё-таки — осталось.

— Хорошо действие, которого не понять, если вперед не рассказать содержания пьесы!

— Марк-Июний же не знает еще настолько нашего итальянского языка...

— Да если б и знал, то ничего не разобрал бы, потому что певцы глотают половину слов.

— Это еще не беда, — вмешался тут Марк-Июний, — в пении дело не в словах.

— А в чем же?

— В музыке.

— Да что толку в музыке без слов?

— То же, дорогой учитель, говорил и скворец соловью в басне: «Не знаю, — говорит, — чего восхищаются так твоим пением? Что толку в нем без слов?» — «Толк в нем такой, — отвечал соловей, — что звуками я умею сказать то, чего не выскажешь никакими словами».

— Вот именно! — подхватил Баланцони и для памяти отметил на манжетке: «Скворец и Соловей». — Опера «Вильгельм Телль» — лебединая песнь Россини, и, хотя она сочинена еще в 1829 году, а лучше её у нас до сих пор ничего нет, да и не будет! Теперь я передам тебе вкратце содержание оперы.

Но не рассказал он и всего первого действия, как оркестр заиграл увертюру. Партер и ложи наполнились между тем избранною публикой. Пурпуровый плащ помпейца тотчас обращал внимание всякого входящего; бинокли всех направлялись на него, все были заняты им одним. Но при первых звуках прелестной увертюры все кругом притихло. Один только неутомный репортер «Трибуны», как ни в чем не бывало, продолжал свой

рассказ довольно громко. За спиной его слышалось легкое шиканье. Рассказчик надменно оглянулся и еще более возвысил голос.

— Ч-ш-ш-ш! — пронесся теперь как бы резкий свист ветра снизу доверху по всему театральному залу.

Лицо репортера побагровело; но ему ничего не оставалось как замолчать.

Когда кларнет начал выделять известную, очаровательную трель, некоторые из зрителей стали тихонько подпевать. Подобно отдаленным звукам эоловой арфы, это экспромтное пение было сперва едва слышно; но потом становилось все дружнее и громче. Когда же загремел заключительный марш, весь театр уже вторил восторженно оркестру.

— Вот тебе заразительная сила соловьиной песни без слов! — шепнул Марк-Июний Скарамуцции.

Занавес взвился, и представление началось. Роскошный декорации, изображавшие живописный швейцарский ландшафт, характерные костюмы актеров-поселян и, особенно, звучный хор их не преминули пленить вначале взор и слух помпейца, не привыкше-

го к такой богатой обстановке. Но он все ждал Лютеции-Тетрацини, которой еще не было на сцене.

— Скоро ли она, наконец, выйдет? — спросил он Баланцони.

— Кто? Твоя Лютеция? Потерпи немножко: она появится только во втором действии.

— Во втором!

С этого момента пьеса уже мало его занимала, и он не мог подавить зево́ты.

— Ага! зеваешь? — обрадовался Скарамуцци.

— Да вонь, оглянись хоть кругом: занимает ли кого-нибудь эта ваша драма?

В самом деле, можно было подумать, что присутствовавшая многочисленная публика стеклась сюда не ради оперы, а для свидания с знакомыми, — людей посмотреть и себя показать.

Когда со сцены доносился бьющий в ухо мотив, всякий, правда, начинал опять мурлыкать его про себя; но самое действие было, казалось, всем так известно, что в редкой ложе кто-нибудь глядел на сцену. Сидевшие у барьера разряженные дамы, обмахиваясь веера-

ми, весело болтали с стоявшими позади их кавалерами или же биноклем водили по ярусам и партеру.

— В этом ты, пожалуй, отчасти прав, — сказал Баланцони. — Но самый театр, согласишься, не чета вашим древним театрам?

— Как тебе сказать? Этих мелких золотых украшений по борту у нас, точно, не было; не было и этого яркого электрического освещения, от которого в глазах рябит. Зато с перил свешивались пестрые сиракузские ковры; колонны и столбы были увиты, связаны между собою цветочными гирляндами; ложи патрициев и всадников так и пестрели шелком, пурпуром и золотом; но что всего важнее, — над головой у нас не было потолка, а светилось ясное, чистое небо; дышалось легко, да и глазам не было больно. Сколько человек помещается у вас здесь?

— Тысячи две.

— Только-то? А в нашем амфитеатре умещалось их двадцать тысяч! И ведь яблоку негде было упасть, никто глаз не смел оторвать от арены...

— Особливо, неправда ли, когда травили

кого-нибудь дикими зверями? — саркастически заметил Баланцони.

— Да кого же мы травили? только каких-то евреев да христиан.

— Только? это бесподобно!

Хотя большинство публики, как сказано, не глядело на сцену и только мимоходом ловило долетавшие оттуда гармонические звуки, но оживленный разговор наших трех знакомцев, с минуты на минуту становившийся слышнее, обратил, наконец, общее внимание. Все бинокли со всех ярусов направились на одну точку в партере — на помпейца.

Тот, однако, этого уже не видел: он весь был поглощен происходившими на сцене. Лазурное небо над вершинами гор заволокло там вдруг мрачными тучами, завыл ветер, блеснула молния, загрохотал гром; волны на озере заходили выше и грознее. Никогда не видал такого искусного воспроизведения величественного явления природы, Марк-Июний был очарован. В то же время и самое действие на сцене, под стать природе, оживилось. Вбежал человек с окровавленным топором и бросился в ноги рыбакам, умоляя пере-

править его на тот берег: он убил своего обидчика, бургфогта, и погоня за ним по пятам. Рыбаки наотрез отказываются: озеро слишком бурно. И вправду: волны все выше, молния так и сверкает, гром гремит, не умолкая. Тут является Телль и, узнав, в чем дело, с решимостью прыгает в лодку: — «С Богом же! я попытаюсь». Едва только он отчалил, как и стража, преследующая убийцу, — уже тут как тут. Но лодка, то ныряя в глубину, то взлетая на гребнях волн, уносит его все далее.

Марк-Июний забыл, казалось, что перед ним спектакль, а не действительность. Вскочив на ноги, он громко захлопал и еще громче крикнул Теллю:

— Не унывай, друг! Греби хорошенько!

Баланцони с усмешкой оглянулся на окружающих, забил также в ладоши и заорал под тон помпейцу:

— Греби, греби хорошенько!

Невнимание к актерам охотно прощается; невнимание к публике — ни под каким видом. Весь театр сверху донизу зажужжал, загудел, как пчелиный улей. Послышались явно негодующие голоса:

— Это уже ни на что похоже! Чего смотрит полиция?

Профессору не без труда удалось на этот раз еще уговорить своего забывшегося ученика.

Так прошел первый акт; после небольшого антракта, начался второй. Когда тут из-за кулис показалась столь долго ожидаемая помпейцем певица, игравшая роль Матильды, он в первую минуту был разочарован: ни фигурой, ни лицом она не походила на его покойную невесту. Но вот прозвучал её голос, и сердце в нем опять дрогнуло. Когда же началась сцена её с Арнольдом, и она затянула свою известную арию, Марк-Июний, вне себя, крикнул на весь громадный театр:

— Лютеция! о, Лютеция!

Такой перерыв зрителем бравурной арии любимой певицы был чем-то совершенно неслыханным. Кругом раздались уже сотни голосов:

— Вон, вон! да где же полиция?

Теперь и полиция, в лице дежурного офицера, предстала пред нарушителем общественного порядка. Скарамуцциа, не выжи-

дая, пока их силой выведут, схватил Марк-Июния под руку и поспешил с ним к выходу.

— Вот тебе, Марк-Июний, тоже травля, — говорил следовавший за ними Баланцони. — Теперь ты отчасти понимаешь, что испытывали христиане-мученики, когда их травили в вашем цирке?



Глава одиннадцатая. На родной почве



Самолюбивому профессору естественно была крайне неприятна описанная сейчас травля, в которой он, европейский ученый, оказался также страдательным лицом. Но травля эта имела хоть одну благодетельную сторону: Марк-Июний должен был оконча-

тельно извериться в современном человечестве и искать забвения в спасительном мире наук.

На следующее утро ученик его, действительно, был еще в более подавленном настроении, чем накануне.

— Ты плохо спал, сын мой? — стал допытываться профессор.

— Вовсе не спал... — был глухой ответ.

— Что так?

— Да сводил счеты с жизнью. Хотя я и дитя стародавних времен, но телом и духом еще молод; и вдруг сказать себе, что ты на земле чужой, что тебе на ней нет уже места; это, как хочешь, тяжело, обидно!

— Что ты, что ты, милый! — встревожился Скарамуцциа. — Ты разочаровался в людях, — и благо тебе: тем дороже тебе будет наука. Сейчас же повезу тебя опять по фабрикам, по заводам...

Марк-Июний безнадежно покачал головой.

— Нет уж, уволь меня, учитель!

— Как же мне быть с тобой? Рассеять тебя теперь необходимо. Знаешь, что: после всех

грубых технических производств я думал, в виде десерта, угостить тебя самым утонченным научным блюдом, — движущейся фотографией; это, я тебе скажу, такое воспроизведение действительности...

— Да, для тебя, современного человека, это должно быть очень любопытно, — согласился помпеец. — Меня же, поверь, все эти новые чудеса, как и те, что ты уже показал мне, более пугают, отталкивают. В какие-нибудь два дня я убедился, что человечество, несмотря на всю вашу так называемую цивилизацию, сделалось беднее, несчастнее прежнего. На что человеку всевозможные ваши житейские удобства, если он к ним завтра же привыкнет, и они ему затем уже не доставляют никакого удовольствия? Да и многие ли имеют возможность пользоваться ими? На одну чашку весов вы кладете удобства десятков состоятельных людей, а на другую — здоровье всей остальной миллионной массы ваших братьев. Удивляет меня только, как они еще находят в себе силу жить?

— Привычка, любезный друг, — сказал Скарамуцциа: — как к роскоши, так и к бедно-

сти одинаково привыкаешь. И они в своем роде даже счастливы: сам ты ведь видел, как они суется, хлопчут, болтают, смеются. Много ли им для счастья их нужно? Помидоров да макарон, олеографий да фотографий, а прежде всего — своя среда, своя семья.

— Вот именно! вот и разгадка! — подхватил Марк-Июний. — Как неприглядна ни была бы наша жизнь, искусство придает ей праздничную окраску, а своя среда, своя семья делают ее нам близкою и милою. Родная обстановка, родные люди — вот первое условие человеческого счастья; без него и жизнь не в жизнь. Для меня, — увы! — и нынешнее искусство как-то дико, не по душе; а близких людей никого не осталось. Сама родина моя обратилась для меня в чужбину, и люди, и язык их, и нравы, и взгляды, и удовольствия — все, все мне уже чуждо. Я совсем одинок, никому не нужен...

— Про меня ты забыл, мой милый? — с укоризной сказал Скарамуцциа.

Марк-Июний взял его за руку.

— Не сердись, великодушный друг мой! Я говорил это не в обиду тебе. Но ведь я вижу,

что ты слишком предан своей науке, чтобы придавать еще значение обыкновенным человеческим симпатиям. Я интересовал тебя, как научный «субъект», и очень рад, что за все твои заботы обо мне мог отплатить тебе хоть своей персоной. Но теперь ты меня насквозь, кажется, изучил; самого же меня в жизни ничто уже не прельщает... Одно чувство, горькое, неодолимое, заглушило во мне все остальные — тоска по родине. Но родины моей не существует; осталось одно воспоминание о ней, кладбище — Помпея. Если ты, учитель, хочешь оказать мне еще последнюю милость, свези меня в Помпею.

— «Что с ним поделаешь? — рассуждал сам с собою профессор. — Свезти его разве туда? Скорей хоть уgomонится, отрезвится».

Перед отъездом он строго-настрого внушил Антонио ни под каким видом не выдавать Баланцони, где они; что неотвязчивый репортер скоро зайдет к ним, он не сомневался.

Когда они добрались до вокзала, до отхода поезда оставалось еще минут 10. Скарамуцци воспользовался этим временем, чтобы

показать ученику паровоз. Кочегар должен был раскрыть дверцы печи, чтобы Марк-Июний мог заглянуть в это громадное огненное чрево. Затем профессор стал обстоятельно излагать ему устройство паровика. Второй звонок заставил обоих вскочить в вагон до окончания лекции. Лектор продолжал ее и в вагоне; но слушатель его никогда еще не был так невнимателен, как сегодня. Мысли его, казалось, были где-то далеко. Резкий свисток паровоза заставил его вздрогнуть, а от набившегося в открытое окно вагона едкого каменноугольного дыма он закашлялся. Скарамуцци поднял окно и шутливо заметил, что кашлять от такого дыма цивилизованному человеку даже отрадно, потому что каменный уголь — тоже плод науки и цивилизации. Марк-Июний на это хоть бы улыбнулся.

Поезд мчался по берегу Неаполитанского залива между высокими туфовыми[5] оградками, из-за которых заманчиво кивали усеянные плодами апельсинные и лимонные деревья, мелькали красные, зеленые и серые кровли домов. Безучастно глядел он в окошко, безучастно пропускал мимо ушей имена пе-

речисляемых ему Скарамуццией прибережных местечек: Портичи, Резина, Торре-дель-Греко, Торре-Аннунциата. Только при проезде через Резину Марк-Июний сделал вопрос:

— Это, никак, Геркуланум?

— Да, здесь был Геркуланум, — отвечал профессор: — теперь он под землю, потому что исчез вместе с Помпеей.

— Но его также разрывают?

— Нет, он до сих пор почти не тронут, потому что его залило лавой, и сверху вырос новый городок Резина. Под мостовой, впрочем, кое-где прорыты ходы и галереи, и по ним можно гулять с факелом. Когда-нибудь, если хочешь, спустимся тоже в этот подземный город?

— Когда-нибудь!.. Теперь я думаю только о Помпее.

Но вот поезд домчал их и до станции Помпеи.

Марк-Июний горел таким нетерпением поскорее увидеть дорогой ему город, что опередил своего учителя и насильно протеснился мимо вертящегося контрольного колеса у кас-

сы, не обращая внимания на кассира, который кричал и махал ему рукой:

— А плату-то за вход, синьор!

— Я заплачу за него, — сказал Скарамуцциа и поспешил вслед за помпейцем.

Нагнал он его на ближайшей улице восстановленного из-под пепла города. Марк-Июний стоял посреди улицы на коленях и с благоговением припадал губами к каменной мостовой.

— Что ты делаешь? — спросил Скарамуцциа.

— Что я делаю? Да как же мне, скажи, после стольких лет отлучки не целовать родной почвы! Взгляни только, взгляни: ведь каждый камень тут положен руками моих братьев. Даже две колеи на них от колесниц сохранились по всей мостовой, будто сейчас здесь еще гремели колеса. Да и сам я сколько раз, бывало, бороздил эти камни, когда проезжал к Лютеции или назад от неё, на свою виллу...

Он со вздохом приподнялся и тут только, казалось, заметил синевшее в отдалении море.

— Помилуй, Нептун! — воскликнул он. —

Да где же гавань?

— Древней гавани, как видишь, и следа уже нет, — отвечал профессор. — Море тогда же отхлынуло и не возвратилось.

Помпеец с растерянным видом огляделся. Безмолвным рядом гробниц тянулись пред ним невысокие домики его современников-помпейцев. Двери или, вернее, отверстия, служившие входом в дома, ничем не были теперь завешаны и как-то осиротело зияли. Ни одна статуя не украшала наружного фасада зданий, и отсутствие окон на улицу придавало им еще более безотрадный вид.

— Мне сдается, право, — сказал Марк-Июний, — что дома эти нарочно закрыли глаза, чтобы только не видеть запустения вокруг...

И, махнув рукой, он побрел далее. Как все здесь ему издавна знакомо! На перекрестках через улицу переложены высокие камни, чтобы в грязную пору пешеходы могли сухо перебраться с панели на панель. На углу водоем: грубо-высеченная из камня голова с широко раскрытым ртом, из которого некогда была неиссякаемая струя в мраморный бассейн. Края бассейна глубоко захватаны от налегав-

ших на них рук; нос и рот статуи до неузнаваемости стерты припадавшими к воде жадными губами. По-прежнему все стоит она, безликая, с разинутым зевом; но ни капли уже не сочится оттуда...

Марк-Июний вышел на древний форум. Не было там ни одной почти колонны, не пострадавшей от землетрясения: у одних были отбиты верхушки, другие опрокинулись и валялись на земле.

— Что случилось с этим чудным местом! — сказал помпеец. — Как теперь помню здесь последний народный праздник. — Между колоннами были развешаны гирлянды разноцветных фонарей; а вся площадь так и кишела веселящимся народом. Тут, па общую потеху, боролись два известных силача; там показывали свое искусство фигляры, акробаты, толкователи снов... Всеобщий говор, гам, ликование, веселье так и било через край! И вот, вместо того, теперь одни каменные обломки, полное безлюдье, мертвая тишина... Разве спугнёшь ногой какую-нибудь ящерицу, что грелась на солнце...

— Или столкнешься с таких вон непро-

шенными гостями, — добавил Скарамуцциа, указывая на появившуюся на другом конце форума компанию англичан.

— От альбионцев этих, кажется, нигде не укроешься! — пробормотал помпеец и свернул в сторону.

Большими шагами он шел вперёд, не замечая пути перед собою. Вдруг он остановился, как вкопанный, перед порогом одного дома. На пороге этом входящего приветствовала крупная мозаичная надпись: «Salve» («Здравствуй!»).

— Точно сама она зовет меня к себе... — печально и тихо промолвил Марк-Июний.

— Кто такой? — спросил Скарамуцциа.

— Лютеция!... это — её вилла.

С видимым колебанием переступил он заветный порог. Но и здесь был тот же вид разрушения, запустения: от мраморной цистерны для дождевой воды посреди атриума[6] осталась только впадина в полу; вместо стеной живописи кругом виднелись одни шероховатые вырезки на стенах; а сакрариума и ларариума[7] не было и следа.

Путники наши перешли в перестиль[8]. О

былой красе, былой уютиности его свидетельствовали только расцветавшие кругом дикий жасмин и шиповник.

— Тут был целый цветник, — с глубокою грустью заговорил Марк-Июний. — Между колоннами этими стояли цветочные корзины с фиалками, нарциссами, шафраном. По всей крыше кругом вились плющ и розы. Посредине же, вся в цветах, стояла богиня красоты... Эта дверь вела прямо в лавровую рощу, откуда слышались журчание фонтана, рокот соловья... И все это пропало безвозвратно!

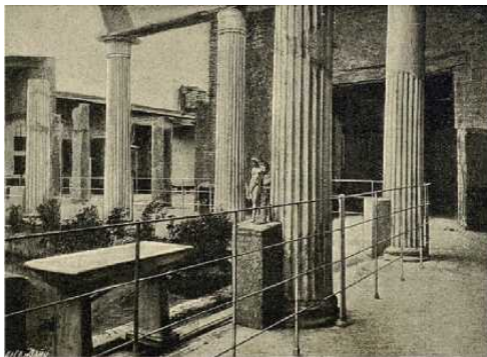
— Ну, полно, пойдем, — прервал профессор, — о невозвратном что вспоминать! Все равно, не воротишь. Я покажу тебе сейчас прелюбопытную надпись.

Выйдя на улицу, он подвел ученика к высокой каменной ограде, на которой красовалась аршинная надпись: обыватели Помпеи приглашались в амфитеатр на звериную травлю. Но нервы Марка-Июния были уже так чувствительно настроены, что, прочитав надпись, он прослезился.

— Ведь вот! — сказал он, — точно это было только вчера... Скарамуцциа его уже не слы-

шал: в нескольких шагах от себя он заметил такое самоуправство, что поспешно направил туда шаги и крикнул по-английски:

— Сэр! что вы позволяете себе?



Внутренность дома в Помпеи.

Глава двенадцатая. Лютеция



Слова профессора относились к высокому и Сочень видному собой старику-англичанину из той самой компании туристов, что давеча попалась им на форуме. Вся небольшая кучка англичан обступила старика, как бы за-слоняя его от посторонних взоров; сам он во-зился около хорошо сохранившейся колонны, небольшим молоточком с ловкостью камен-щика отбивая у неё узорчатый угол.

Услышав оклик, непризванный камен-щик, как пойманный на шалости школьник, быстро спрятал орудие свое в карман, после чего гордо выпрямился и окинул подходяще-го к нему профессора с головы до ног высоко-мерным взглядом.

— Что вам угодно, сэр?

— Прежде всего я попрошу вас отдать мне сейчас ваш молоток.

— Какой такой молоток?

— А вот этот.

И Скарамущиа без околичностей полез к нему рукой в карман, откуда вытащил молоточек.

— Вы забываетесь! — вскинулся англичанин, вспыхнув от стыда и гнева.

— Не знаю, кто из нас двоих более забылся. За ваше самоуправство я мог бы тотчас отправить вас в полицию...

— Как?! Меня, члена английского парламента, лорда Честерчиза, в полицию?

— Мне очень прискорбно слышать о вашем высоком звании...

— Да сами-то вы, сэр, кто такой, что позволяете себе распоряжаться здесь, как хозяин?

— В некотором роде я, точно, хозяин, потому что я — директор здешних работ.

— А! так вы, стало быть, известный профессор Скарамущиа? — значительно мягче произнес лорд Честерчиз.

— Да, сэр. Но где, позвольте узнать, проводник ваш? Ведь при вас должен же быть проводник...

— А я услал его в гостиницу «Диомеда» за

апельсинами для моей дочери.

— Или, вернее, чтобы удалить его?

Лорд Честерчиз готов был опять обидеться; но, одумавшись, перешел в снисходительно-фамильярный тон:

— Вы, господин профессор, конечно, лучше всякого другого поймете страсть археолога к предметам древности! Я вот такой любитель-археолог, и потому не могу видеть какой-нибудь древности равнодушно... Чего тебе, my dear? — отнесся он к одной из своих спутниц, которая в это время тихо положила ему на руку свою маленькую ручку, одетую в шведскую перчатку о десяти пуговицах.

До сих пор она в черепаховую лорнетку очень внимательно разглядывала помпейца, точно то был не человек, а редкостный зверь. Лица её самой, защищенного от палящего южного солнца густою белою вуалью, хорошенько нельзя было разглядеть; но широкополая соломенная шляпка с белым страусовым пером сидела на голове её преграциозно, вся фигура её была удивительно изящна. На вопрос лорда, она стала что-то ему настойчиво нашептывать.

— Well (хорошо), — сказал он и обратился опять к профессору: — Вот дочь моя интересуется узнать: молодой этот человек — не тот ли самый помпеец которого вам, господин профессор, удалось отрыть и воскресить?

— Тот самый.

Гордый член английского парламента милостиво протянул Марку-Июнию два пальца и произнес довольно правильно по-латыни:

— Позволь познакомиться: я — такой же, как и ты, патриций, только из «туманного Альбиона»; а это — дочь моя...

Помпеец молчаливо ей поклонился.

— Дело вот в чем, — продолжал её отец, — ты знаешь, вероятно, что такое альбомы? Сама по себе мысль недурная — собирать на память в одну книжку предметы, напоминающие дорогих или интересных нам людей. Сперва была мода на письменные альбомы; потом их вытеснили фотографические. Но и те теперь опошлись: нет прислуги, у которой не имелось бы такого альбома! Дочь моя придумала новый род альбомов: все знакомые должны уделять ей по локону волос, и каждый локон, разумеется, снабжается соот-

ветственной надписью. До сих пор никто ей не отказывал: всякому лестно попасть в её альбом, если не в собственной персоне, то в частице своей персоны. Надеюсь, что и ты не откажешь ей в такой мелочи?

Марк-Июний не сумел по достоинству оценить лестности сделанного ему предложения.

— Дочь твоя желает надсмеяться надо мною? — про молвил он, окидывая барышню огненно-сумрачным взглядом.

— Спроси его, не было ли у него невесты? — шепнула она отцу, и тот перевел помпейцу её вопрос.

— Может быть, и была... — был ответ.

— Так скажи ему, что я прошу его именем его, покойной невесты.

Услышав просьбу в такой форме, Марк-Июний грустно улыбнулся.

— Да и ножниц ведь нет у нас под рукой, — отговорился он.

Отговорка ни к чему ему не послужила. Ножницы тут же оказались в руках предусмотрительной мисс Честерчиз, и ему ничего не оставалось, как преклонить голову, чтобы дать ей срезать у него клочок его черных куд-

рей.

— I thank you (благодарю вас), — проговорила она, кивнув ему с величественной благодарностью королевы; затем вполголоса заметила отцу, не найдет ли он нужным пригласить теперь обоих — профессора и помпейца — к «Диомеду» на стакан хорошего вина или чашку шоколаду.

— Твоя правда, — согласился тот и передал обоим приглашение дочери.

Приглашение было принято, и все четверо, а за ними и вся остальная компания англичан, двинулись из Мертвого города обратно к выходу, около которого находится гостиница «Диомеда».

После испытанного с самого утра палящего солнечного зноя Марк-Июний с удовольствием вступил в прохладную сень просторной столовой гостиницы. Сам хозяин со своими гарсонами заметался, как угорелые, чтобы достойно принять господина директора раскопок с сопровождавшими его «знатными иностранцами». На столе тотчас появились разные вина, прохладительные напитки, фрукты, печенье.

— А шоколад будет сию минуту, *signore direttore*, — уверил хозяин, — сию секунду!

Мисс Честерчиз, в ожидании шоколада, ограничилась стаканом лимонада. Поднося стакан к губам, она откинула с лица вуаль. У помпейца, сидевшего наискосок от неё, вырвался такой крик не то радости, не то испуга, что все кругом на него оглянулись. А он не отрывал очарованного взора от молодой англичанки. Черты лица её были, действительно, классически правильны, а вспыхнувший теперь на щеках её нежный румянец сделал её еще привлекательнее.

— Да не гляди же на нее так, неприлично! — шепнул Марку-Июнию профессор.

— Но ведь это же совсем Лютеция, — про-
бормотал тот, сам смутившись.

Скарамуцци счел долгом оправдать своего ученика перед Честерчизами, родителем и дочерью, поразительным сходством последней с покойной невестой помпейца. Причина была столь уважительна, что не вызвала возражений. Красавица-мисс снизошла даже чуть-чуть улыбнуться, а потом, когда ей подали чашку шоколаду, она пила его маленьки-

ми глоточками, не поднимая глаз, но в то же время, видимо, прислушиваясь к разговору отца с Марком-Июнием, как бы желая уловить смысл непонятных ей латинских фраз.

Тут за окном застучали колеса и лошадиные подковы.

— Вот и наши экипажи, — объявил один из туристов, выглянувший в окошко, и все разом поднялись с мест.

— Да вы куда отсюда? — спросил, встрепенувшись, Марк-Июний. — В Неаполь же есть железная дорога?

— Нет, мы на Везувий, — отвечал лорд Честерчиз. — До Торре-Аннунциаты мы едем в колясках, а оттуда уже верхом.

— Учитель! — обратился помпеец к профессору. — Поедем и мы тоже с ними!

Глаза его горели таким лихорадочным огнем, что Скарамуцциа покачал головой.

— Уж если подниматься на Везувий, — сказал он, — то по зубчатке от Резины, куда можно проехать прямо по железной дороге.

— А вот подите, потолкуйте с моей упряницей! — отозвался лорд Честерчиз. — Забила себе в голову ехать туда верхом, во что бы

то ни стало...

— А вы, профессор, тоже на Везувий? —
вмешалась упрямица.

— Не столько я... — замялся Скарамуцциа.

— Сколько ваш ученик?

— Н-да... А где он, там и я.

— Так что же, милый папа? У нас в коляске
есть как раз еще два места...



Вид на Везувий из Помпеи.

И вот, они оба, учитель и ученик, сидят
уже в коляске Честерчизов: профессор — про-
тив отца, а помпеец — против дочери. Хоро-

шо еще, что она закрылась снова своей густой вуалью, из-за которой едва-едва светятся глаза. Но пылкое воображение молодого человека дополняло недостающее, и он готов был верить, что перед ним — его настоящая Лютеция...

Сама мисс Честерчиз, казалось, не обращала уже на него ни малейшего внимания. Когда они въехали в маленький городок Торре-Аннунциата, она, в свою черепаховую лорнетку все время поглядывала по сторонам, чтобы не пропустить ничего замечательного.

— Мистер Скарамуцци! Посмотрите, что это такое? — спросила она, указывая лорнеткой на какие-то желтые тесемки, целыми рядами развешанные на длинных шестах перед одним домом.

— А макароны.

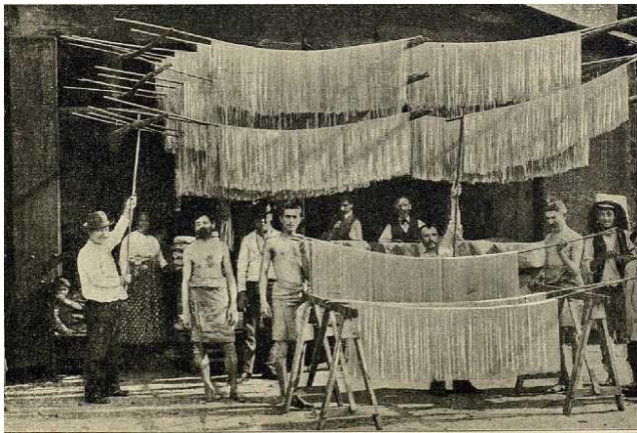
— Макароны на улице?

— Да, на солнце они лучше всего сушатся; и топка даровая.

— Но помилуйте: на них летит вся пыль от наших экипажей!

— На зубах немножко похрустит, не беда. Здешние макаронные фабрики славятся по

всему свету, далее за Океаном. Американцы
вписывают их от нас ящиками.



— Поздравляю американцев! Что же до меня, то теперь я ни за что уже не возьму в рот ваших итальянских макарон. Ах, Боже мой! Вот картина-то!

И барышня залилась серебристым смехом. А картина, в самом деле, была преоригинальная: на перекресте двух улиц стояла корова; перед нею сидел на корточках мужчина и доил ее по всем правилам молочного хозяйства, а вокруг столпилось несколько женщин с пу-

стыми жестяными кружками, в ожидании, когда до них дойдет очередь получить свою порцию.

Но вот и станция: коляска остановилась. Надо было пересесть на вперед уже заказанных верховых лошадей и ослов. Нашлось по лошади и для профессора с его учеником. Мисс Честерчиз также дала посадить себя на лошадь. Отец же её предпочел небольшого, предобродушного на вид ослика. Едва лишь он, однако, при помощи проводника, взобрался на спину ослика, как тот задрал хвост и заревел благим матом. Важный всадник побагровел от смущения и досады и принялся немилосердно дубасить ослика своим зонтом, чтобы заставить его замолчать.

— Не бейте его синьор! — предостерег проводник. — Как начнет брыкаться, так вам не усидеть.

Делать нечего, пришлось обождать, пока длинноухий певец постепенно замирающим голосом не окончил своей арии.

— Да неужели нет никакого средства не давать кричать этим животным? — спросил в сердцах лорд профессора.

Тот передал вопрос проводнику по-итальянски.

— Есть-то есть, — отвечал проводник, — но больше для ночного времени, чтобы не мешали людям спать.

— Какое же это средство?

— А к хвосту осла привязывают кирпич.

— Ну?

— Да осел ведь не может кричать, не задрав хвоста кверху.

Скарамуцциа, как уже знают читатели, очень редко улыбался; на этот раз он не мог подавить улыбки. Когда же он перевел слова проводника по-английски, раздался общий хохот; сам лорд Честерчиз кисло усмехнулся.

— Очень рад, милостивые государыни и государи, — сказал он, — что способствовал в некотором роде вашему веселью.

Один лишь Марк-Июний, не знавший ни по-итальянски, ни по-английски, не понял, о чем шла речь; но Лютеция смеялась, так как же было ему остаться серьезным?

Кавалькада тронулась легкою рысью; проводники бежали рядом и сорванными по пути ветками по временам подхлестывали бо-

лее ленивых животных. Ослик лорда Честерчиза оказался обидчивее своих товарищей: в ответ на довольно хлесткий удар, он стал брыкаться, так что старик-англичанин потребовал, чтобы ослика его отнюдь не трогали.

Так ехали они уже более часу. Торре-Аннунциата давно осталась позади. Дорога шла постепенно в гору по бесплодной местности, густо покрытой вулканическим пеплом. Чтобы дать передохнуть животным, приходилось иногда ехать и шагом.

— Какая скука! — заметила мисс Честерчиз. — Когда же мы, наконец, доплетемся? Господин профессор! пустимся-ка вскачь?

— Не по моим летам, мисс, — уклонился профессор. — Вот Марк-Июний, я уверен, охотно с вами поскачет.

Надо ли говорить, что Марк-Июний не дал долго просить себя?

Мисс Честерчиз оказалась прекрасной наездницей и полетела вперед, как вихрь. Помпеец, также лихой наездник, мчался вслед за нею, но все-таки не мог ее нагнать. Вдруг от стремительного движения навстречу горному ветру легкая соломенная шляпка с вуалью

сорвалась с головы девушки. Марк-Июний тотчас задержал своего коня, чтобы пододвинуть шляпку. Но молодая наездница даже не оглянулась и, как окрыленная, неслась все вперед да вперед. Ветер играл её роскошными белокурыми волосами, точно стараясь расплести их. И вот, это ему удалось: золотистая волна широко распустилась по её спине и плечам.

Догонявший ее помпеец крикнул ей теперь, чтобы она остановилась. И она сразу остановила лошадь, которая была вся уже в мыле. Живой рукой молодая девушка сплела свои волосы в косу и, приняв от Марка-Июния с милостивой улыбкой шляпку, накрыла ею свою золотую головку. Еще миг, — и её пылающее лицо, блестящие глаза скрылись опять под густою белою вуалью.

Дальнейший путь свой они продолжали уже шагом до самого подножия Везувия. Здесь постепенно примкнули к ним и остальные туристы. Но ослик лорда Честерчиза, не раз, конечно, уже испытывавший трудности подъема на кручу вулкана, уперся буквально «как осел». Когда же проводник имел неосто-

рожность прибегнуть снова к своей древесной плетке, ослик преспокойно прилег на землю. Лорд, не приготовленный к такому пассажи, скатился кубарем с седла и растянулся рядом. Зрелище это хоть кого бы рассмешило. Проводники и то меж собой пофыркивали; благовоспитанные же спутники досточтимого члена парламента, покусывая губы, напереерыв выражали свое «теплое» участие пострадавшему. Пострадал, впрочем, скорее его светлый летний костюм от глубокого пепла, который самого его уберег от ушиба.

Предстояла удивительнейшая часть пути — восхождение на вершину вулкана крутыми зигзагами устроенной хозяином гостиницы «Диомеда» на свой счет дороги. Пуганая ворона и куста боится. Лорд Честерчиз отказался теперь не только от своего ослика, но и от любезно предложенной ему Марком-Июнием собственной своей лошади. — Чтоб она сбросила меня, и я сломал себе шею? — буркнул старик. — Я видел, как она бешено несла тебя.

— Так держитесь хоть за хвост моей лошади. — предложил Скарамуцциа.

— За хвост?

— Да, это очень облегчает восхождение и постоянно у нас практикуется.

— Но такая, более чем странная поза...

— А мы двинемся после всех, и вашей позы никто не заметит.

Выбора не было, и лорд Честерчиз, скрепя сердце, воспользовался предложенным ему практическим способом. Тем не менее он не мог воспрепятствовать ехавшим впереди украдкой оглядываться на поворотах дороги и любоваться его комической фигурой с распущенным белым зонтом в одной руке и с лошадиным хвостом в другой. Зато он добрался вполне благополучно до центрального пепельного конуса, окружающего кратер. Далее, на почти отвесную крутизну взбираться лошадям было решительно невозможно; но несколько носильщиков с креслами и ремнями были уже тут к услугам туристов. Честерчизы дали внести себя наверх на креслах; профессора втащили за ремень; Марк-Июний же с легкостью молодости, без посторонней помощи, опередил всех.



Глава тринадцатая. На Везувии



— Ты как сюда попал?
Удивиться помпейцу было чему: перед ним стоял с своей тонкой усмешечкой все тот же неизбежный, как рок, репортер «Трибуны».

— А зубчатка на что же? — отвечал Баланцони. — *Per aspera ad astra* (по терниям к звездам). Не застав уже вас обоих дома, я тотчас сообразил, что вы улизнули от меня в Помпею. Я — на телеграфную станцию, телеграфирую хозяину «Диомеда»: «В Помпее ли еще *signore direttore*»? — Ответ: «Сейчас только отбыл с другими на Везувий». Я — в Резину, а оттуда по зубчатке сюда, и вот, как видишь, прибыл еще раньше вас. Нет, от нашего брата, репортера, никуда не удерешь! А кто, скажи-ка, эта важная птица, что говорить, только-что с твоим учителем?

Марк-Июний объяснил.

— О-о! Член парламента и лорд? Может пригодиться.

С развязным поклоном Баланцони подошел к лорду и отрекомендовался. Тот свысока оглядел его и переспросил:

— Репортер «Трибуны?» Не той ли самой газеты, которую с утра до вечера выкрикивают по всей Италии: Tribuna-a-a! Tributi-a-a?

— Той самой, милорд!

— От этих несносных криков у меня до сих пор еще болит барабанная перепонка.

И, повернувшись спиной к репортеру, лорд Честерчиз продолжал свой прерванный разговор с профессором:

— Так вулкан, говорите вы, теперь «работает»?

— Работает, но пока еще довольно умеренно, — отвечал Скарамуцциа. — Жерло едва дымится. Но слышите подземный гул?

— Слышу. А это что значит?

— Это значит, что будет извержение.

— И скоро?

— Может быть, через час, а может быть, и через десять минут.

— О! И с потоками лавы?

— Не думаю.

— Жаль! А я рассчитывал скушать яйцо, испеченное в горячем пепле. Ведь здесь можно достать свежих куриных яиц?

— Можно, милорд, можно! — поспешил ответить Баланцони, выжидавший только случая, чтобы вмешаться опять в разговор. — Сколько я знаю, недалеко отсюда должна быть и расщелина, где есть горячий пепел и постоянно течет даже лава. Сейчас пойду, раз-узнаю.

Тем временем Марк-Июний не сводил глаз с молодой парочки — мисс Честерчиз и откуда-то взявшегося молодого англичанина. Они болтали меж собой непринужденно и весело, как давнишние знакомые. Прелестное личико молодой девушки сияло таким радостным оживлением, что у помпейца сердце сжалось.

Позволь мне познакомить тебя с будущим супругом моей дочери, — услышал он тут около себя голос лорда Честерчиза.

«Так она уже сговорена!». Марку-Июнию стоило не малого усилия над собой, чтобы не выдать происходящего в глубине его души,

когда старик подвел его к будущему своему зятю. А тот, приятно оскалив свои длинные, плотоядные зубы, протянул уже ему руку в свежей лайковой перчатке и заговорил что-то быстро-быстро на своем непонятном языке.

— Время — деньги, наш английский девиз, — пояснил помпейцу по-латыни лорд Честерчиз. — Зять мой предлагает тебе очень выгодную аферу. Ведь ты теперь, вероятно, без всяких средств?

— Да, все, что у меня когда-то было, погибло вместе с Помпеей.

— Ну, вот. А он — главный пайщик одной из крупнейших лондонских фирм, показывающей публике всякие курьезы...

— И меня он хочет также показывать этак за деньги?! — воскликнул Марк-Июний.

— Да ведь ты, скажем прямо, все равно, что нищий, а он готов предоставить тебе половину выручки.

И все это говорилось ему в лицо в присутствии самой Лютеции, и она хоть бы бровью повела!

Он отвернулся, чтобы не показать выступивших у него на ресницах слез досады и

стыда, и отошел прочь. Скарамуцциа пошел было вслед за ним, чтобы успокоить его уверенением, что о будущности своей ему нечего беспокоиться, что он, Скарамуцциа, усыновит его, — когда кто-то его вдруг окликнул.

Неподалеку стояли два субъекта: один в простой синей блузе, в красном колпаке, другой — даже без сапог и головного убора. Первый манил его рукой.

— *Signore direttore!* да подойдите же ближе.

Профессор приблизился и сперва не хотел верить своим глазам: субъект в блузе и колпаке был никто иной, как Баланцони!

— Вы ли это, *signore dottore?* — спросил его Скарамуцциа. — Для чего этот маскарад?

— Да ограбили среди бела дня...

— Кто ограбил?

— Бандит.

— Здесь, меж нас?

— То-то, что не здесь, а под спуском. Сейчас вот все расскажу, одолжите мне только до завтра сто лир, чтобы откупиться от этого мошенника.

И репортер указал на своего полураздетого

спутника. Тот с видом оскорбленного достоинства ударил себя кулаком в грудь.

— Меня же, который вас великодушно выручил, одел, пригрел, вы смеете называть мошенником! Извольте сейчас возвратить мне мое платье. Я — честный проводник, живу своим трудом...

— Ну, ну, ну, не сердись, любезный! — поспешил уgomонить его Баланцони. — Не всякое лыко в строку. *Signore direttore!* Бога ради, отдайте ему сто лир...

— Да за что? Неужели за какую-то старую блузу и колпак?...

— И за сапоги! — с ударением досказал великодушный субъект. — Сапоги роскошные.

— Но все это не стоит и тридцати лир.

— А зачем мне от моего счастья отказываться?

— Отпустите уж его, *signore direttore!* — еще настоятельнее взмолился Баланцони.

Скарамуцциа пожал плечами и удовлетворил прежнего владельца названных роскошных принадлежностей туалета. Тот пожелал им обоим доброго здоровья ж, весело посвистывая, удалился.

— Ну, а теперь расскажите-ка толком, как это с вами случилось? — обратился профессор снова к репортёру. — Как случилось? А очень просто, — отвечал тот. — Взятся я, как вы знаете, разыскать для этого лорда (чтобы ему провалиться!) исток лавы; справился у проводников. Те заломили с меня пять лир, чтобы только проводить до места...

— И вы пошли одни?

— А то как же? Не бросать же этим живодемам ни за что, ни про что, пять лир! Едва только спустился на ту сторону, как передо мной вырос из-под земли какой-то бродяга и приставил к груди моей револьвер.

— Не пугайтесь, синьор, я вас не трону. Не извольте только кричать. Скажите, пожалуйста, который час?

Вынул я часы, а он — хватать у меня из рук.

— Славные, — говорит, — часики! Не подарит-ли мне их синьор?

Что с ним поделаешь?..

— Возьми, — говорю.

— Покорно благодарю. Может быть, синьор не откажет мне и в паре сольди на добрый стакан вина?

Достал я кошелек, а он — хватать опять из рук.

— Зачем синьору трудиться? Я и сам отыщу. Вот подошвы у меня, — говорит, — на беду прорвались. Эти шлаки здесь — хуже нет! Покажите-ка, синьор, ваши подошвы.

Показал я ему, а он:

— О! совсем еще целы. Вы, синьор, отсюда, верно, опять домой, к себе в Неаполь?

— В Неаполь, — говорю.

— Ну, так там сейчас купите себе новую обувь. А я отсюда когда-то еще соберусь! Уступите-ка уж мне?

Хочешь-не хочешь, пришлось разуться. Он тут же обулся.

— Точно на меня, — говорит, — сшиты! Может, и сюртук ваш мне в пору? Позвольте-ка примерить.

Снял я сюртук, а шляпу он и сам с меня снял.

— Одно к одному, — говорит. — Не могу ли я вам, синьор, тоже чем услужить?

Я попросил его вернуть мне только мою записную книжку.

— Сделайте одолжение! — говорит. — Могу

дать вам и расписку в получении. С кем имею честь?

Когда я назвался, он вежливо снял шляпу (мою же шляпу!) и вписал мне в записную книжку, что получил, дескать, от меня в долл десять тысяч лир.

— Да такой суммы, — говорю, — в кошельке моем никогда и не было.

— А это, — говорит, — вам тоже от меня подарочек. Мне это ничего не стоит, а вам будет чем похвастаться.

На этом мы с ним и расстались...

— Очень любопытно, и рассказано, как по писанному, — похвалил Скарамуцциа. — Вот вам на завтра и целый фельетон; вернете разом мои сто лир.

— Нет, этого я уже не опишу, и вас усерднейше прошу, *signore direttore*, никому ни слова!

— Хорошо, хорошо, — успокоил его профессор. — Но вы не станете теперь также отбивать у меня моего ученика?

— Сегодня ни в каком случае. До свидания!

Точно опасаясь, чтобы Скарамуцциа, в свою очередь, не связал его словом, Баланцо-

ни быстро сбежал вниз по крутому склону пепельного конуса. Профессор возвратился к помпейцу, который стоял, наклонясь над самым кратером.

Края кратера были покрыты зеленоватым и красноватым налетом вулканической серы; из глубины же, как из громадного адского котла, вырывались с раскатистым громом густые клубы черного дыма, и взлетали вверх с пушечными выстрелами камни и пепел.

— Тебя еще ранит! — предупредил Марк-Июния Скарамуцциа. — Отступи же назад.

— Мне хотелось заглянуть к Плутону, прежде чем сойти туда, — отвечал помпеец.

— Что у тебя на уме? — испугался профессор. — Неужели ты хочешь...

— Спуститься в царство теней? — досказал Марк-Июний с слабой улыбкой. — Да ведь раньше ли, позже ли, все мы там будем? Но сперва надо мне проститься с моей милой Италией.

И, скрестив на груди руки, он с невыразимой грустью загляделся на расстилавшийся глубоко внизу зеркально-голубой Неаполитанский залив с живописнейшею его берего-

вою полосую.

— А вот на горизонте и Капри, — мечтательно проговорил он: — помню, как однажды мы с настоящей моей Лютецией и отцом её посетили там лазоревый грот...

— Друг мой, — с чувством перебил его профессор, — забудь-ка свою Лютецию! Ее нам не воротить; сам же ты еще юн и свеж, так сказать, только что распустившийся плодовой цвет; а кто же срывает плод, пока он не налился, не созрел?

— Сравнение твое ко мне нейдет, — возразил ученик. — я — цвет, но осенний, которому никогда не созреть.

— Увидишь еще, как созреешь! Изобретен же уже прибор для искусственной выводки цыплят; и тебя мы выведем, — выведем в светила современной науки...

— А что, учитель: современная ваша наука, пожалуй, дойдет и до того, что станет воскрешать, восстанавливать людей, когда их и след простыл?

— Очень может быть, о, очень может быть!

— Ну, вот; тогда ты меня и восстановишь. А теперь прости: меня зовет Лютеция. Да нис-

пошлют всемогущие боги благодать свою на тебя за всю доброту твою ко мне. Прости!

Марк-Июний крепко обнял и поцеловал наставника. Тот ухватил его за плащ.

— Милый мой...

— А что это там, смотри-ка, — спросил вдруг Марк-Июний, указывая под гору в сторону Помпеи.

Скарамуцциа всмотрелся, но ничего особенного не мог разглядеть.

— Ничего я там не вижу... Ах!

Плащ помпейца остался у него в руках, но никого около него уже не было: Марк-Июний с умыслом отвлек от себя внимание профессора, чтобы исчезнуть в вулкане. В тот же миг поглотившая его гора, как бы в адской радости ликуя, оглушительно загрохотала, задрожала. К безоблачному голубому небу взлетела целая туча камней и сверху осыпала ошеломлённого ученого. Но тот стоял, не трогаясь с места.

— Сын мой, о, сын мой... — шептал он про себя, и по суровому лицу его, впервые со времен детства, текли слезы...



Из рейнских сказаний

Драконов утес

— В ту отдаленную пору, когда обитатели правого берега Рейна поклонялись еще идолам и высшую славу полагали в разбойничьих набегах, — на левом берегу того же Рейна мало-помалу распространялось уже кроткое учение Христово, смягчая первобытные грубые обычаи и дикие нравы. Среди этих первых прирейнских христиан особенным благочестием отличались родители юной Адельгейды, взрастившие свое единственное детище в той же богобоязни.

— Еще малюткой Адельгейда слышала о чудовищном драконе, жившем на том берегу реки в глубокой расщелине утеса, так и прозванного Драконовым утесом — «Drachenfels».

— Правда ли, что дракон пожирает живых людей? — спросила она как-то отца.

— Говорят, что так, — отвечал нехотя отец. Но с пытливостью, свойственной бойким детям, девочка не удовлетворилась таким ответом и стала допытывать далее.

— Так зачем же люди даются ему на съедение?

— Даются они, дитя мое, не по своей воле, — объяснил отец: — их приносят чудовищу в жертву.

— В жертву? Это что же такое?

— Это, видишь ли, вот что. Мы тут, на левом берегу реки, веруем в единого Бога Творца и Сына его, Христа Спасителя. Те же, что живут на правом берегу, в невежестве своем не знают еще Христа и молятся разным богам, которых и нет, поклоняются идолам, которых сами себе сделали. Так почитают они и того дракона за богоподобное существо, ниспосланное будто бы им с неба для кары всех злых и преступных. И вот, чтобы умиливать ужасного дракона, его кормят живыми людьми, — преступниками и пленными врагами.

— Ах, бедные! Ведь между пленными могут быть и добрые люди?

— Еще бы! Но для тех варваров всякий враг — уже дурной человек, особенно всякий христианин, как мы.

— Господи помилуй! Но ведь и нас тоже они могут увести этак в плен...

— Не уведут, дитя мое, не бойся; Бог не попустит. Мы — народ мирный и войной ни на кого не пойдём.

И точно, многие годы Господь хранил эту мирную семейку. Родители маленькой Адельгейды успели уже состариться, а сама она подросла и расцвела прелестной девушкой.

Тут и в их тихий уголок залетела военная гроза. Два могучих князя правого берега Рейна, Горсрик и Ринбольд, переправились с своей дикой ордой на левый берег, — и селения запылали, воздух огласился воплями и криками. Защищавшиеся с оружием в руках были безжалостно перебиты; кто мог, — бежал в леса. Дом родителей Адельгейды точно так же разгромили, но их самих, как беззащитных старых людей, пощадили; всю же пленную мужскую и женскую молодежь, в том числе и Адельгейду, увели с собой в рабство на правый берег Рейна.

Здесь князья-победители приступили к любовному дележу награбленного добра и живой добычи. Когда очередь дошла и до Адельгейды, между князьями разгорелся жаркий спор: ни одному не хотелось отдать такую красавицу другому.

— Так пусть же меч решит, за кем ей быть! — вскричал старший князь, неукротимый Горсрик.

Младший, более сговорчивый, Ринбольд, на этот раз не пошел на уступку.

— На твою голову! — отвечал он, выхватывая также меч.

Потекла бы кровь, не вступишь в дело присутствовавши при дележе верховный жрец.

— Остановитесь, безумцы! — закричал он. — Стоит ли хоть одной капли вашей драгоценной крови нечестивая христианка, не верующая в наших старых богов? Отрекитесь лучше от неё оба и посвятите ее дракону во славу бога богов, всемогущего Бодана.

Против такого предложения верховного жреца не могло быть возражений, и несчастная Адельгейда с несколькими другими пленными была обречена на жертву ненасытному

Чудовищу.

Наступил день жертвоприношений. К вершине Драконова утеса потянулось торжественное шествие: впереди— жрецы в праздничных облачениях; за ними— связанные пленники, окруженные стражниками; за пленниками— воинская дружина в блестящих доспехах, а за дружиной— несметная толпа народа. Как ни привычен был весь этот темный люд к кровавым зрелищам, а трогательный вид пленной красавицы-христианки все же умилил не одно сердце.

— Бедняжка! — слышались сострадательные голоса, — идет ведь, как невинный агнец на заклание!

— Зачем же она не верит в нашего Водана! — отзывались другие.

— А где оба наши князя? Что их не видать?

— Князь Горсрик со злобы и досады еще с вечера ушел в лес на вепра.

— А князь Ринбольд?

— Занемог, говорят; который день уж не выходит из замка!

— Хоть повременили бы, пока наш милый князь опять оправится!

На самом деле, любимец народный, молодой Ринбольд, не был болен; но Адельгейда с первого взгляда ему так полюбилась, что он ни днем, ни ночью не знал уже покоя. Спасти ее от мученической смерти ему нечего было и думать; видеть же её мучения ему было бы слишком горько. Так-то он остался у себя в замке. Однако ему хотелось хоть издали в последний раз еще взглянуть на молодую пленницу, и он вошел на самую вышку угловой башни, откуда открывался вид на дорогу к Драконову логову. Припав лицом к решетчатому окошку и затаив дух, он следил воспаленным взором за поднимавшимся в гору постыдным шествием. Вон, среди стражников, мелькнула её белоснежная одежда... И забыто уже его решение не присутствовать при её казни. Он уже верхом на коне и вихрем мчится туда же, в гору.

Между тем, пленники всходили на вершину утеса. По знаку верховного жреца, Адельгейду первую подвели к позорному столбу. С ангельским смирением дала она привязать себя. Держа перед собой святое Распятие, она не отрывала глаз от лица Спасителя, и черты

её лица светились каким-то неземным сиянием.

— И не вопит ведь не прольет ни одной слезинки! — толковал кругом изумленный народ.

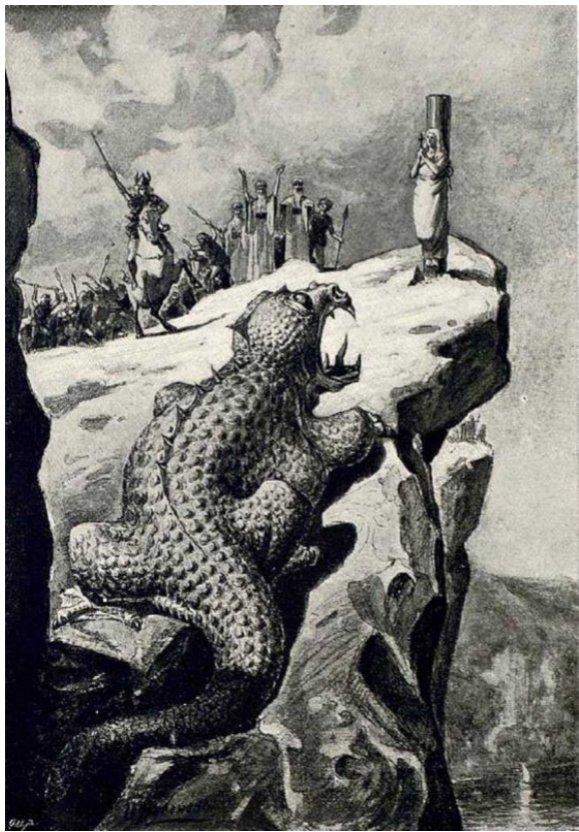
— Будто ей вовсе и не страшно, а в особую еще радость помереть за своего Христа.

— Дитя глупое, неразумное: думает, что Христос спасет ее в последний час. Как же, дождись! Вон и дракон почуял свежину.

Из темной расщелины утеса выползала исполинская гадина. Безобразная голова покачивалась мерно из стороны в сторону; громадное туловище, покрытое чешуйчатой броней, на кривых коротких ногах волочилось по земле безобразно-вздутым брюхом; а сзади извивался длинный, чешуйчатый же, змеиный хвост. Все тысячи толпившихся кругом зрителей в немом ужасе попятились назад, толкая и давя друг друга.

Тут чудовище завидело привязанную к столбу молодую жертву. Зарычало оно, зашипело от радости и двинулось вперед, гремя звонкой чешуей по скалистой почве.

В это самое время на место казни подоспел



молодой князь Ринбольд. Подобно другим, он всегда благоговел перед священным драконом. Но при виде этой разинутой зубастой пасти, готовой поглотить самое дорогое ему существо, Ринбольд понял — не умом, а сердцем, что перед ним только дикий, кровожадный зверь, и он пришпорил коня на смертный бой с драконом. Однако и борзого коня обуял небывалый страх: он весь задрожал и взвился на дыбы.

А что же Адельгейда? — Покорившись выпавшей ей горькой доле, она, с Распятием в руках, творила тихую молитву:

— Христе Боже! на Тебя одного уповаю: Ты можешь совершить всякое чудо...

И чудо совершилось: дракон, как сраженный небесной молнией, испустил отчаянный рев, от которого дрогнула гора, и, отпрянув в сторону, ринулся вниз с отвесной кручи в воды Рейна, которые его и поглотили.

Жрецы и воины и весь простой народ от изумления не знали, верить ли своим глазам. Как! боготворимое ими громадное чудовище не устояло перед изображением христианского Бога?

Ранее других пришел в себя, уверовал в нового Бога молодой Ринбольд. Сойдя с коня, он отвязал Адельгейду от позорного столба, и затем преклонил колени перед Распятием. Примеру любимого князя последовала его дружина, а примеру дружины и простой народ. Тут и жрецам ничего не оставалось, как сделать то же.

— Слава Всевышнему во веки веков! — сказала Адельгейда. — Теперь, князь, у меня одна к тебе просьба: отошли меня назад к моим родителям.

— Нет, моя дорогая, — отвечал Ринбольд: — я вызову их к нам. Здесь, на этом самом месте, я выстрою себе новый замок, и княгиней этого замка будешь ты, моя богоданная невеста!

— Так-то на Драконовом утесе воздвигся новый замок, откуда затем по городам и весям правого берега Рейна все далее и далее распространялось учение Христово. Много поколений рода князя Ринбольда и княгини Адельгейды жило потом в этом замке, пока, наконец, в 1530 году род их совсем не пресекся. До сих пор, однако, на Драконовом утесе

сохранились еще развалины княжеского замка. Плывущие по Рейну путешественники любуются на них издали с палубы парохода; иные же сходят и на берег, чтобы меж виноградников подняться к развалинам по зубчатой железной дороге и окинуть с вышины восхищенным взором ту самую реку, которая протекала некогда столь же живописно под ногами Ринбольда и Адельгейды.

Кельнский зодчий

В XIII-м веке от Рождества Христова в городе Кельне на Рейне жил некий искусный зодчий. Своим редким умением строить всякие здания древних и новых стилей заслужил он себе почетную известность не только в своем родном городе, но и далеко по течению Рейна. Но для его ненасытного честолюбия этого было мало. Ему хотелось создать такой памятник зодчества, чтобы имя его прогремело по целому свету и прославлялось затем из века в век в потомстве. И вот, судьба, казалось, сжалилась над честолюбцем и послала ему желанный случай.

Однажды его потребовал к себе высоко-

преосвященный Конрад, архиепископ кельнский.

— Мы пришли к решению, — молвил владыка, — дать богоспасаемому граду Кельну такой храм, коему равного по величине и благолепию не имеется еще во всем христианском мире. Первой лептой на то я отдаю все мое собственное, немалое достояние. Не сомневаюсь, что на столь богоугодное дело доброхотные приношения потекут к нам обильно как от наших добрых горожан, так и из иных мест, близких и дальних. Остается лишь найти строителя. Но о тебе, мой сын, как о таковом, я давно уже наслышан. Возьмешься ли ты начертать нам на пергаменте подходящий план для такого собора?

От лестного предложения у зодчего дух в груди заняло, голова закружилась. Но в безмерной самонадеянности он ни минуты не задумался над ответом.

— Берусь, владыка, — сказал он с поклоном. — А какой срок даете вы мне на изготовление плана?

— От сего дня и часа годичный срок. Тем временем соберутся и деньги, подвезут мате-

риал. Это — моя забота. Твое дело пока — план. Так что же, сын мой, берешься?

— Берусь, — повторил зодчий.

Приняв благословение святителя, он с победоносным видом пошел восвояси. Итак, заветная мечта его сбывалась: он мог создать теперь на общее удивление нечто небывалое по величию, красоте и блеску. Ничто другое не должно было вперед отвлекать его от великого дела. И, отказавшись от всяких других, самых выгодных работ, он весь отдался этому единственному делу. Наяву и во сне мерещился ему новый собор. Но над ним тяготела точно какая-то враждебная сила: то, что так ярко и отчетливо рисовалось перед его духовным взором, тотчас расплывалось в воздухе обманчивым маревом, как только он брался за карандаш и бумагу. Тогда он напрягал всю свою память, чтобы насильно вызвать опять перед собою забытое. Отчасти ему это, действительно, удавалось, и в конце концов, после многих переделок, из-под умелой руки его выходило нечто очень красивое, даже величественное. Но самого его оно все-таки не удовлетворяло, и, окончив план, он всякий

раз опять разрывал его на мелкие клочки.

Тем временем, по распоряжению архиепископа, с Драконова утеса свозились уже каменные глыбы к месту, отведенному для будущего собора. У горожан же только и разговору было, что о новом храме божьем и о его строителе. Уж если он, этот славный мастер, взялся его построить, то храм будет красоты неописанной. И когда, случалось, наш зодчий выходил на улицу, все встречные ему низко кланялись и почтительно давали ему дорогу. Он же, поникнув головой, приходил мимо, никого не замечая и никому не отвечая на поклоны.

— Весь, небось, до макушки ушел в свою великую думу, — говорили прохожие, глядя ему вслед. — Где уж ему до нас, грешных!

А он, в искусство которого все так слепо верили, все более терзался сомнениями, терял уже веру в самого себя!

Так подошел данный ему владыкой годичный срок; оставалось до срока всего три дня.

На дворе с утра еще шумела непогода. Ветер завывал в печной трубе, хлопал ставнями окон. От этого воя и грохота наш зодчий не

мог связать двух мыслей. Наконец он не выдержал, схватил с гвоздя шляпу и выбежал из дому. Но на улице он был на виду у всех, а он был бы рад убежать от самого себя. Так очутился он за городом, в лесу, в горах. Небо давно обложило тучами, от чего в лесной чаще было еще темнее. Вот и смерклось, а он забирался все глубже в чащу, все дальше в горы.

Наконец наступила и ночь, черная, непроглядная. Куда же теперь?

Тут собиравшаяся весь день гроза внезапно разразилась. Сверкнула молния, загредел гром, и полил дождь как из ведра. Укрывшись под густолиственным дубом, зодчий стоял точно околдованный: при вспышках молний окружающие вековые деревья представлялись ему грозными великанами, махавшими своими мохнатыми руками, чтобы схватить его, дерзнувшего проникнуть в их таинственное царство.

Вдруг молния разрядилась над самой головой его с таким оглушительным треском, что его отбросило в сторону. От нестерпимого блеска он невольно зажмурился. Когда же раскрыл глаза, то увидел, что молния ударила

В тот самый дуб, под которым перед тем стоял он, и весь ствол дерева пылает, как громадная лучина.

Тут, казалось, из самого пламени выступил какой-то человек в красном плаще и с красным пером на широкополой шляпе.

— Славная погодка, чудесная погодка! — заговорил он, подходя к зодчему слегка прихрамывая на одну ногу. — Гулять тоже изволите?

— Вам молнией, никак, повредило ногу? — спросил зодчий.

— Пустяки! — отвечал незнакомец, усаживаясь под ближайшим деревом на старый пень и запахивая ногу плащом. — Не присядете ли вы тоже? Тут сухо.

Присев на соседний пень, зодчий внимательнее взгляделся в лицо незнакомца: из-под нависших полей шляпы светились точно два горящих угля, а на тонких губах змеилась загадочная усмешка.

— Вы как будто расстроены? — начал опять незнакомец. — Уж не горе ли у вас какое? смею спросить.

Зодчий не сейчас ответил; но вырвавшийся-

ся у него невольный вздох был самым красно-речивым ответом.

— Всякое горе можно залить добрым питьем, — продолжал незнакомец, доставая из-под плаща дорожную флягу. — Отхлебните глоточек, — как рукою снимет.

Принял зодчий от него флягу, отхлебнул, — и словно огонь разлился по его жилам.

— Ну, что, — спросил незнакомец, — каков напиток?

— Напиток дивный, — отвечал зодчий. — На душе сразу стало легче...

— Так что вы тотчас, пожалуй, начертали бы весь план?

— Какой план?

— Да нового собора. Неужели вы думаете, что я не узнал с первого взгляда знаменитого мастера, которому поручено сделать этот план? Но одному вам все же никогда с ним не справиться, поверьте моему слову.

«Да кто же мне поможет?» — хотел было спросить зодчий. Но из насмешливых глаз незнакомца посыпались такие зловещие искры, что он должен был потупить взор, и тут заметил снова прикрытую плащом хроющую

ногу незнакомца.

«Да ведь у нечистого, говорят, лошадиное копыто!» — вспомнилось ему вдруг, и волосы на голове у него стали дыбом, зубы во рту защелкали.

Незнакомец рассмеялся.

— Чего вы испугались? Ученому человеку пугаться, право, не пристало. Я кое-что смыслю также по вашей части.

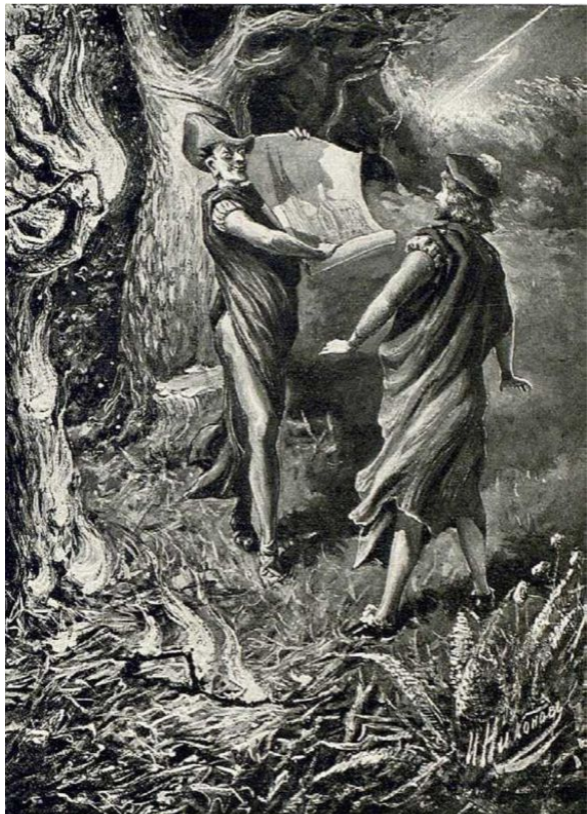
— Но мне остается до срока всего два дня, — возразил зодчий, — а составить такой сложный план — план целого собора — в два дня и думать нечего.

— Как кому — отвечал незнакомец, приподнимаясь и вынимая из-под плаща пергаментный сверток. — Вот, например, не угодно ли посмотреть.

Зодчий также встал, чтобы ближе разглядеть развернутый незнакомцем свиток, да как взглянул, так в глазах у него зарябило: на пергаменте оказалось мастерски выполненным именно то, о чем он постоянно мечтал, но что самому ему ни за что не давалось.

— Да ведь это мой собственный план! — воскликнул он и хотел выхватить пергамент

из рук незнакомца.



— Не торопитесь, любезнейший, — сказал незнакомец. — Пока он мой; но я не прочь уступить его вам, если вы подпишете небольшой договор... Но вас опять, я вижу, трясет лихорадка! Выпейте-ка еще для храбрости.

Зодчий сделал еще глоток из фляги незнакомца, и от волшебного зелья его бросило из озноба в жар и храбрости в груди, в самом деле, прибавилось.

— О чем договор ваш? — спросил он.

— Да вот прочитайте сами!

Незнакомец подал ему дощечку, на которой было написано огненными буквами всего несколько строк. Но, прочитав их, зодчий затрепетал всем телом.

— Чтобы я продал свою душу? Ни за что!

— Ну, так распроститесь и с планом. Таких договоров у меня несчетное число; одним больше или меньше — для меня мало значит. Для вас же впереди или почет, или позор.

— Да ведь у нас нет ни пера, ни чернил... — пробормотал зодчий.

— Вот перо, — сказал незнакомец, снимая большое красное перо с своей шляпы. — А чернила — ваши собственные.

Царапнув руку зодчего до крови длинным когтем своего указательного пальца, он окунул перо в свежую ранку.

— Распишитесь внизу; кроме вашей подписи, ничего мне не требуется.

Зодчий расписался и, взамен расписки, принял сверток. В тот же миг над самой головой его грянул гром, как из тысячи орудий, а в землю перед ним ударила молния. Земля треснула, и из трещины взвился огненный столб с смрадным дымом и охватил незнакомца. Ослепленный пламенем и едким дымом, зодчий закрыл глаза рукой. Когда же он отнял руку, ни незнакомца, ни пламени уже не было. Кругом стояла прежняя тьма крошечная, да в воздухе пахло серой.

После долгого плутания по густому лесу, зодчий, до смерти усталый, выбрался наконец под утро к берегу Рейна.

Укрывшийся здесь от ночной бури в заводи рыбака принял его в свою ладью и благополучно доставил в город. Когда зодчий доплелся до своего дома, то, не раздеваясь, повалился на постель и заснул тотчас, как убитый.

Проспал он так беспросыпно двое суток, да

и тогда еще не проснулся бы сам, не растолкай его посланец архиепископа со словами:

— Вставайте, ваша милость, вставайте: владыка зовет вас к себе.

— Владыка? — пробормотал зодчий с трудом собираясь с мыслями. — Да разве уже срок?

— Надо быть что так: — «скажи, — говорит, — что я жду план собора».

Зодчий огляделся: на столе лежал столь памятный ему пергаментный сверток. Значит, все это был не сон, а правда!

Приведя в порядок свой наряд, он отправился к архиепископу с неразвернутым свертком: у него не достало духу еще раз взглянуть на план; будь, что будет!

Высокопреосвященный, при виде свертка в руке зодчего, принял его еще милостивее прежнего.

— Ты, вижу, тверд в своем слове, — молвил он. — Но что с тобой, сын мой? Как ты бледен, как печален! Или сам ты недоволен своей работой?

— Мастеру, владыка, трудно судить о своей работе, — уклончиво отвечал зодчий.

— Так дай посудить другим.

Зодчий развернул свой сверток. Владыка ахнул от изумления.

— Ты — великий мастер! Такого храма еще нигде не бывало, где поклоняются святому кресту. Ты себя обессмертил, сын мой, и мы увековечим твое имя на особой доске в самом храме. С завтрашнего же дня можешь приступить к его постройке.

И точно, со следующего же дня постройка началась. Тысячи землекопов, каменщиков и плотников закопошились на отведенном под собор месте. Как по волшебству, в короткое время был заложен фундамент; а когда стали затем возводить стены, в одну из них вделали большую медную доску с вырезанным на ней именем славного строителя.

Но самого его это не утешало; не утешал и успешный ход работ. Ведь чем скорее шли они, тем неизбежнее подходил и роковой час расплаты. Зодчий совсем упал духом и бродил вокруг своего создания рассеянный и хмурый, как осужденный к смерти. Наконец, чтобы облегчить свою совесть, он покаялся во всем своему духовнику.

— Злосчастный! — ужаснулся духовник. — Твое прегрешение так вопиюще, что все мои молитвы тебе не помогут.

— Но что же мне делать, что мне делать?! — в отчаяньи вскричал зодчий.

— Если кто может еще вырвать тебя из когтей дьявольских, так некий старец-пустынник святого жития. Полвека уже спасается он в горах; многократно изгонял он злых духов из грешников. Сходи к нему, попробуйся.

— И собрался зодчий к святому старцу. Возложил на него старец тяжелую епитимию, строгий пост и жестокие истязания; сам молился с ним денно и ночью в власянице и веригах. Шли так недели, шли месяцы; зодчий им и счет потерял. От вечных бдений и всяких лишений остались на нем одни кости да кожа, и весь оброс он волосами, как дикий зверь лесной.

— Теперь, сын мой, вернись к своему делу, — сказал ему тут пустынник. — Веди и впредь такой же покаянный образ жизни. Быть может, тогда враг рода человеческого утратит свою власть над тобою.

— Вернулся зодчий к своему делу. Но в его отсутствие между архиепископом и городскими властями возникли крупные несогласия, и постройка собора была приостановлена. Хотя с возвращением строителя, работы и возобновились, но не прекращавшиеся неурядицы тормозили их на каждом шагу. А надломленное уже здоровье зодчего от постоянных новых огорчений еще более подрывалось. Он слабел, слабел, пока не мог уже сделать и шагу из дому. Но об нем уже не заботились, и угас он, всеми покинутый и никем не оплаканный.

— Как только его не стало, из стены недостроенного храма исчезла и доска с его именем. Постройка же собора с тех пор шла крайне — туго, прерываясь иногда на целые годы. Прошли столетия, а начатое с помощью нечистой силы величественное здание все еще не достроено...

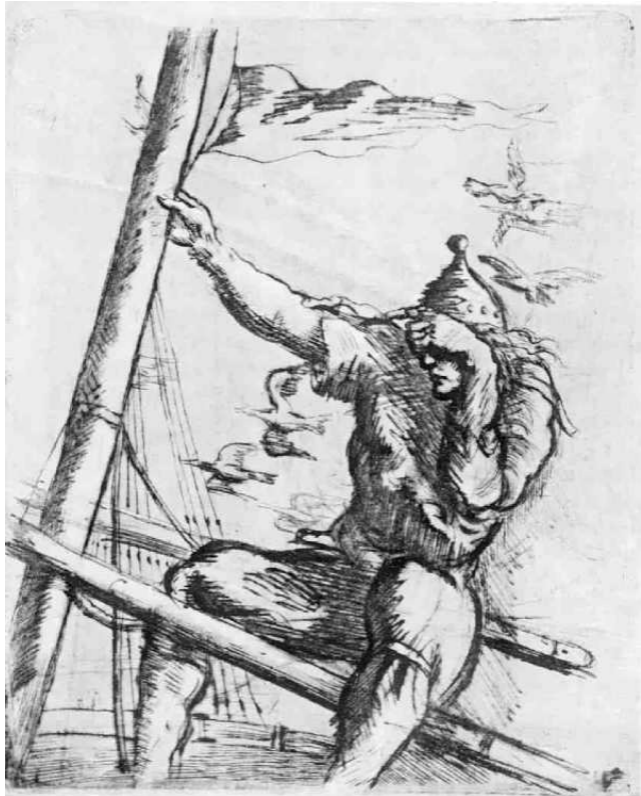
— Так гласит народное предание; так повторялось оно в народе еще и в первой половине XIX века. Но благочестивые люди по-прежнему не забывали неоконченного храма своими лептами. Благодаря усиленному при-

току их, в 1842 году решено было, во что бы то ни стало, достроить храм. И вот, 15 октября 1880 г. состоялось наконец торжество освящения готового уже собора, одного из гениальнейших созданий зодческого искусства. Тут, спустя 600 лет слишком, вспомнили и о его первом зодчем; в старинной хронике было отыскано его забытое имя: мастер Герард — Meister Gerard, — имя, которое отныне навсегда уже связано с постройкою Кельнского собора.

Сказание о Фритиофе, витязе норманнском

Введение

Лет тысяча и более тому назад, когда на юге Европы науки и искусства достигли уже довольно высокого развития, когда яркий свет христианства разливался все далее на север, — на крайнем севере, в Скандинавии (тогдашней Нормандии), народ блуждал еще во мраке первобытного невежества и идолопоклонства. Франкам и римлянам дикие обитатели севера, называвшиеся норманнами (от слов Nord и Mann), были известны только по их дерзким набегам: нагрянет на цветущее южное побережье в легких ладьях своих, с боевым криком, стая северных варваров, забрет с собой все, что поценнее, да и скроется опять из виду. Неудивительно, что благовоспитанным, изнеженным южанам эти непрошеные гости представлялись разбойниками, извергами, чуть не исчадием темной силы. Но были-ли они таковы на самом деле?



Сохранившиеся до нас народные сказания

скандинавцев рисуют нам их в совершенно ином виде.

Из трех нынешних государств скандинавских: Норвегии, Швеции и Дании, первое место в ту пору занимала Норвегия. В ней горы были выше и круче, леса гуще и богаче всяким зверьем, реки быстрее и обильнее всякою рыбой. Всею западную стороной своей она прилегала к открытому морю, где была изрезана бесчисленными скалистыми бухтами. Резкость полярных ветров умерялась в ней теплыми струями обмывавшего ее Гольфштрема. Суровой, но величественной природе соответствовало и выросшее среди неё племя. Охота, рыболовство, скотоводство и, отчасти, земледелие составляли занятие норманнов в мирное время. Но близость открытого моря, естественно, должна была развить в них дух отваги и предприимчивости, а восторженные песни скальдов (народных певцов, гуслиаров) не могли не воспламенять молодого поколения к таким-же подвигам на морском раздолье. И вот, снаряжались быстролетные ладьи-корабли, с вооруженным с головы до ног, бесстрашным экипажем, — и горе инозем-

цам, к берегам которых приставал этот грозный флот!

Но то не были простые пираты, завзятые грабители чужого добра. То были бойцы-удальцы, которым, во чтобы то ни стало, нужно было развернуть свою богатырскую мощь, показать свою молодецкую удаль. Для южан, понятно, удальцы эти не могли быть ничем иным, как врагами, разбойниками; для самих-же норманнов благодатный юг отнюдь не был враждебным краем, а лишь желанным поприщем для боевой силы. Между собой они были сплочены самой тесной дружбой, неизменной верностью; для общего дела они, не задумываясь, проливали свою кровь, безропотно отдавали свою жизнь. Возвратясь же из странствия под родную кровлю, каждый из них обращался по-прежнему в мирного гражданина, в доброго семьянина.

Страна норманнов была разбита на несколько мелких, независимых друг от друга государств. Массу населения составляли бонды, крестьяне, свободные земледельцы.

Конунг, король, избирался ими же на тинг, народном вече. Обстановка королевского дво-

ра норманнов была довольно схожа с известною нам из родных былин обстановкой княжеского двора Владимира-Солнышка. Подобно киевскому князю, окруженному всегда своими князьями да боярами, и короли норманнские имели свою свиту из ярлов, графов. В столовой королевской, точно также, как и в гридне княженецкой, шли веселые пиры богатырей могучих, раздавались песни скальдов-загусельщиков. Из всех игр как там, так и здесь, самой излюбленной были шашки-шахматы. Между добрыми молодцами и там, и здесь заключались побратимства на жизнь и смерть, с тем лишь различием в обрядности, что богатыри киевские, как исповедовавшие уже христианство, менялись наперсными крестами, витязи-же норманнские, верные древнему языческому обычаю, смешивали кровь свою, выпуская ее из ладони на землю в одну общую ямку. Такое же сходство было и в сказочно — замысловатой форме кораблей тех и других, с тою лишь опять разницей, что у язычников-норманнов форма эта прямо обуславливалась их фантастическими верованиями. Отцом богов почитался у них всемуд-

рый Один, начало духовной силы, тогда как громовержец Тор был началом силы телесной. Но самым любимым богом их был сын Одина, Бальдер, бог добра и света, равно прекрасный и духом, и телом. Ему воздвигались самые пышные храмы, ему приносились самые обильные жертвы. Глубокая, младенчески-простодушная вера в конечное торжество добрых сил над злыми, руководившая всеми действиями норманнов, проникает насквозь и все их народные сказания, озаряя их мистически-волшебным светом.

Как наши родные киевские былины давным-давно забыты на месте их зарождения и помнятся еще только на далеких окраинах нашего отечества, в губерниях Олонецкой, Архангельской, Пермской и сибирских, также точно и саги — сказания скандинавцев — сохранились единственно на отдаленном острове Исландии. Написаны они там еще 800 лет тому назад, под названием Эдды. Из всех же этих саг наиболее поэтична «Фритиофссага», записанная в первый раз там же, в Исландии, в конце XIII или в начале XIV века. Герой этой саги, Фритиоф (от двух исландских слов: Frid

и Thiofr, означающих вместе вор мира), жил, как полагают ученые, в конце VII или в начале VIII столетия. Рассказана сага частью прозой, частью стихами. Не смотря, однако же, на все её достоинства, она едва ли получила-бы всемирную известность, если бы знаменитейший из шведских поэтов, Тегнер (род. в 1782 г., ум. в 1846 г.), не переложил ее на современный шведский язык, переработав ее от начала до конца и создав, таким образом, как бы совершенно новую поэму. Каждая из 24-х песен тегнеровой поэмы написана своим особенным стихотворным размером, наиболее соответствующим её содержанию, и, по своей музыкальности, большая часть этих песен положена даже на музыку. Напечатанная в первый раз в 1825 году, поэма в первые же 15 лет выдержала в Швеции 6 изданий. Но круг её почитателей не ограничился Швецией: она вскоре была переведена почти на все европейские языки, в том числе на немецкий язык не менее 15-ти раз. На русский язык перевод ее, в 1841 году, академик наш Я. К. Грот, и сделал он это так мастерски, что первоклассный критик наш Белинский, столь стро-

гий к посредственным произведениям, отозвался о ней в самых восторженных выражениях:

«Какие величественные образы, какая сила, энергия в чувстве, какая свежесть красок, какой дивно-поэтический колорит! Это совершенно новый, оригинальный мир, полный бесконечности, величавый и сумрачный, как даль океана, как вечно суровое небо севера, опирающееся на исполинские сосны...»

В предлагаемом прозаическом пересказе пришлось нам поневоле ограничиться сжатою передачей содержания поэмы, опустив значительную часть прелестных мифологических сравнений и картин бытовой обстановки норманнов. Но чтобы дать нашим читателям хотя некоторое понятие о стихотворных красотах поэмы, мы позволили себе одну песнь («Искушение Фритиофа») привести почти целиком в стихотворном переводе академика Грота.

I. Фритиоф и Ингеборга



На земле Гильдинга, вольного «бонда», выросли рядом деревцо и цветочек: стройный дубок и нежная роза. Дубок тот был Фритиоф, та роза — Ингеборга.

Как счастлив был Фритиоф, когда выучился рунам![9] Он мог учить им Ингеборгу.

Как любо ему было, наставив парус, скользить с нею по глади вод! При всяком повороте

она так весело была в ладоши.

С столетних деревьев снимал он ей птичьи гнезда, с неприступных скал живых орлят. И первую землянику, и первый колос все приносил он ей, подруге своих детских игр.

Бурный ли поток заграждал им дорогу — он брал ее на руки и, обвитый её милой рученкой, смеясь переносил ее через пучину.

Но промелькнуло детство и мальчик стал юношей, девочка девой. По дням пропадал Фритиоф в лесной глуши; без копья, без меча ходил один на медведя. Грудь с грудью бился он с страшным зверем, пока не одолевал его. Раненый возвращался он домой с кровавой добычей и клал ее молча к ногам Ингеборги. А она распевала славные песни старины и искусною рукой ткала на ковре картину его смелого боя.

Кто-же были они, эти питомцы крестьянские?

Ингеборга была дочь самого короля Бела; Фритиоф сын вольного крестьянина, ближайшего советника и соратника королевского, Торстена Викингсона. Старый Гильдинг, известный по целому царству своею глубокою

честностью и мудростью, лучше всякого другого мог воспитать и дочь королевскую, и сына крестьянского; поэтому два неразлучные друга: король и крестьянин, доверили его опытности двух неразлучных же детей своих.

II. Смерть отцов



Состарился король Бел, состарился и друг его Торстен. В предчувствии близкой смерти, позвали они к себе сыновей своих. У Бела их было двое: Гелг и Гальфдан. Темнорусый Гелг был усердный жрец богов, но душою коварен, нравом лют. Светлокудрый Гальфдан, напротив, был не в меру мягок, ветрен и носил меч и латы, как переряженная воином де-

ва.

— Друзья мои! сказал им Бел: — дни мои сочтены, вам править царством. Но правьте им в братском согласии, живите в мире и с соседями, беритесь за меч только для защиты страны. Не тесните народа, творите правый суд. Ты, сын мой Гелг, не будь жесток: меч, чем острее, тем легче гнется. А ты, Гальфдан, стыдись пустых забав: мед хоть и сладок, да хмелен.

За королем встал с места верный товарищ его Торстен:

— Всю жизнь, о, король мой, мы шли рука в руку. Дозволь же мне и в смерти идти с тобой.

И, обратясь к сыну своему Фритиофу, он внушил ему искать славы, но не возноситься, страшиться богов и чтить земную власть.

Предчувствие не обмануло старцев: скоро их не стало. И схоронили их по обе стороны родного залива, под высокими курганами. Гельг с Гальфданом воссели на царство. Фритиоф же наследовал имение отца: обширные луга и поля, несчетные стада, «дважды двенадцать» коней. Но всего дороже из наследства

были ему три предмета: меч-кладенец, «молнии брат», по имени Ангурвадель; золотое за-
пястье, кованое северным Вулканом хромым
Ваулундом, и волшебный корабль Эллада с
драконовой головой и чешуйчатым серебря-
ным хвостом.

И пошла слава о Фритиофе по всему цар-
ству, не столько за несметное его богатство,
сколько за унаследованное от отца благород-
ство духа. Он был храбр и незлобив, велико-
душен и щедр, и окружил себя двенадцатью
мудрыми советниками, седовласыми воина-
ми, товарищами покойного отца. В ряду их,
«как роза меж листьев поблекших», сидел
один лишь юный сверстник его Бьерн[10] с
которым они, по обычаю норманнского, кро-
вью скрепили свой братский союз (см. в вве-
дении).

III. Сватовство Фритиофа



Пирует Фритиоф с своей доброй дружиной. Скальды-гуслиеры на звонких струнах славят его предков. Но сам Фритиоф невесел, безмолвен.

— Что случилось с нашим молодым орлом? — спросил названный брат его Бьерн. В грудь

ли он ранен, в крыло ли подстрелен? Всего у нас вдоволь: и меда, и сала; скальдам нет счета, песням конца. Конь землю скребет, сокол кличет к охоте, Эллида с якоря рвется. А Фритиоф не жаждет ни боя, ни добычи. И ждет его на соломе бесславная смерть!

Ничего на насмешку не ответствовал Фритиоф. Он вышел вон, к берегу, отвязал Эллиду, распустил парус и полетел по волнам.

Тем временем, братья-короли сидели на отцовском могильном кургане и чинили народный суд и расправу. Вдруг предстал перед ними Фритиоф с дерзновенною речью:

— Не король я родом, даже не ярл (граф). Но могилы моих предков говорят об их славных делах, и доколе будут скальды, не замрет и память об них. Мог бы и я добыть себе царство; но милее мне жить в родном краю, милее охранять своих королей, своих братьев. Мы на кургане покойного Бела. Он слышит каждое наше слово. Не даром воспитал он со мною Ингеборгу: как два деревца срослись мы сердцами. Исполните же теперь его тайную волю: отдайте за меня вашу сестру, отдайте Ингеборгу!

Добродушный Гальфдан, быть может, и склонился бы на его неотступную просьбу; но надменный Гелг с презрением отвергнул ее.

— Как! вскричал он: — за тебя, крестьянского сына, отдать дочь и сестру королевскую? Будь первый ты между своими, но до Ингеборги тебе, как до звезды небесной, далеко! А защиты твоей нам не нужно: защитит себя мы и сами сможем.

Скоро пришлось раскаяться Гелгу, да уже поздно.

IV. Сватовство короля Ринга

Много царств было в Нордландии; но не было народа могучее, счастливее, как народ мудрого и доброго короля Ринга. Народ благоденствовал; сам же Ринг давно не знал ни радостей, ни покоя. Тридцать лет, тридцать зим прожил он с любимой женой; но она померла, и одиночество стало вдовцу нестерпимо. Прослышал он тут про красавицу дочь короля Бела, Ингеборгу, и заслал к ней сватов с богатыми дарами.

Зная могущество Ринга, братья Ингеборги не посмели перечить. Но надо было им спер-



ва узнать волю богов. В священной роще принесли они им богатую жертву конями и соколами. Но жертва была отвергнута, и Гелг, уже не задумываясь, отказал послам. Легкомысленный Гелг еще насмеялся над ними на прощанье.

— Жаль, нет с вами короля вашего Ринга! сказал он: подержал бы я ему, старичине, коня, чтобы не свалился, не расшибся.

Воспылал гневом старый король Ринг за отказ, а пуще того еще за злую насмешку; снарядил большое войско и пошел на обидчиков войной.

V. Фритиоф за шахматами



Задорен был король Гелг, да куда не храбр. Вспомнил он тут, что повздорил с первым витязем своим Фритиофом, а стало быть, и со всею его молодецкою дружиной. Кто же защитит его теперь от грозного короля Ринга?

И заслал он посредником к Фритиофу воспитателя его, старика Гильдинга. Тот застал его с Бьерном за шахматной доской.

Сыновья Бела шлют тебе поклон, начал Гильдинг: король Ринг идет на них войной, и вся надежда их на тебя.

Фритиоф, будто не слыша, продолжали беседовать с Бьерном о шахматной игре:

— Берегись, Бьёрн! королю твоему плохо: вся надежда его на пешку.[11]

— Не шути ты с ними! — убеждал Гильдинг: — хоть они слабее Ринга, но тебя куда сильнее.

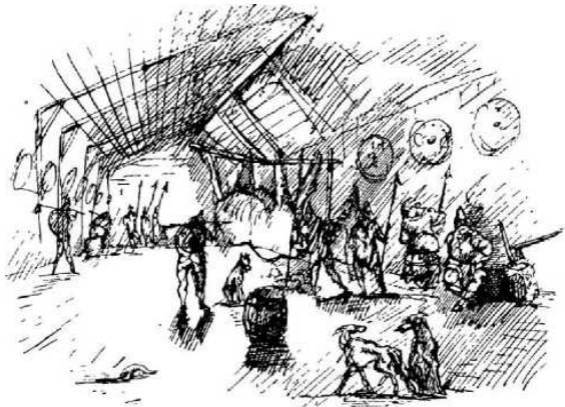
— Бьёрн! ты метишь на мою башню? Да нет, пешки мои ее отстоят.

— И не жаль тебе даже Ингеборги, которая заливается неутешными слезами? — не отставал Гильдинг.

— Эй, Бьёрн! О ферзи моей не тревожься: в ней вся моя сила, и ничто нас не разлучит.

С таким неопределенным, замысловатым ответом огорченный Гильдинг и вернулся к своим королям.

VI. Удаление Фритиофа



А ферзь Фритиофа, Ингеборга, тою порой, действительно, заливалась слезами вдали от родного крова: чтобы не нашел ее король Ринг, брат Гелг свез ее с её сестрами в Бальдерстагу и укрыл там в храме светозарного бога Бальдера. Затворницы этого храма, девушки, отнюдь не смели видеть муж-

чин. Нарушение запрета неминуемо должно было навлечь на нарушителей страшный гнев богов. Но, после посещения Гильдинга, Фритиофу, во что бы то ни стало, надо было свидеться с Ингеборгой. Не слушая предостережений Бьёрна, он снарядил Эллиду и поплыл в Бальдерстагу.

Ингеборга, при виде его, сильно перепуталась.

— Боги тебе этого ни за что не простят! — были первые слова её.

Тщетно старался он ее успокоить.

— Вернись сейчас и помирись хоть с моими братьями, — настаивала она.

Он должен был исполнить её желание. Застал он королей-братьев, как и в первый раз, на могиле их отца.

— Тяжело мне быть в раздоре с братьями Ингеборги, — говорил он Гелгу: — я готов помириться, готов подать вам помощь, отдай мне только Ингеборгу: заодно спасешь ты от короля Ринга и ее, и твой собственный венец.

И весь окружающий народ, в знак одобрения, ударил в щиты и воскликнул:

— Отдай ему Ингеборгу!

И старый Гильдинг, и сам юный Гальфдан присоединились к общей мольбе.

— Кто дерзнул осквернить святыню, тот недостоин дочери богов! — сказал Гелг.

— Отвечай мне: виделся ты с Ингеборгой в храме Бальдера, или нет?

— Скажи, что «Нет!» — подхватила толпа, — и мы тебе на слово поверим.

— От одного моего слова зависит теперь мое счастье, — сказал Фритиоф, — но мне не нужно счастья, купленного низким обманом. Да, я виделся с сестрой твоей в храме, но мира богов этим не нарушил.

Он не закончил. Ропот ужаса пробежал по толпе; все отхлынуло от него, как от лютой заразы. Никто уже ни слова не проронил за него: закоренелое суеверие сковало все уста.

— По законам предков я мог бы сейчас казнить тебя смертью или осудить на вечное изгнание, — заговорил опять Гелг, — но я буду милосерд. На дальнем западе есть острова[12] — владенье ярла Ангантира. При жизни Бела, ярл исправно платил нам дань, но теперь перестал. Пльиви же к нему и истребуй дань. Этим ты, может быть, еще загладишь свою

вину.

И Фритиоф покорился. Простившись с Ингеборгой и оставив ей на память драгоценное отцовское запястье, он собрал дружину и пустился в море.

Коварному же Гелгу не довольно было удалить своего ненавистника: он хотел в конец погубить его. Зная, как жрец, все тайные заклинания, он взволновал море, нагнал стужу с градом и снегом и вызвал из глубины морской страшных чудовищ. Но, благодаря опытности в морском деле и бесстрашию Фритиофа, Эллида его устояла против враждебных стихий, хотя и лишилась парусов и руля.

VII. Фритиоф у Ангантира



Уярла Ангантира шел пир горой, а под окном его верным стражем стоял старый Гальвард, укрепляя себя также медом из турьего рога и зорким оком окидывая ширь морскую. Вдруг на краю неба показался дивный дракон-корабль. Дивен он был с виду, но едва двигался, как будто и сам он, и все люди на нем были в конец изнурены. И точно, когда корабль прибило к берегу, двое силачей-исполинов должны были перенести туда

на руках обессиленных своих товарищей. Разведя на песке костер, они расположились около огня, чтобы отогреться и отдохнуть.

Но Гальвард побежал уже к ярлу с вестью о неведомых пришельцах. Ангантир приник лицом к окошку и тотчас узнал гостей:

— Да это славная Элида Фритиофа! И сам он, Фритиоф, тут же. Не видал я его никогда во всю мою жизнь, но по виду, по осанке, это Торстенон сын.

— А вот узнаем, точно ли это Фритиоф! — подхватил один из берсерков[13] ярла, свирепый Атлий. — За мной, братцы!

И вся буйная ватага выбежала из палаты, размахивая мечами и булавами.

— Проси мира! — крикнул еще издали Фритиофу Атлий.

— Хотя я и измучен, — сурово возразил Фритиоф, но мира ни у кого еще не просил и у тебя не попрошу.

Два бойца бросились друг на друга. Смертельные удары посыпались градом. Щиты у обоих разлетелись на части, а меч берсерка разломился пополам от меча-кладенца Ангурваделя.

— Безоружных я не бью, — сказал тут Фритиоф и бросил свой меч далеко от себя. — Испробуем так нашу силу.

И закипел бой рукопашный, грудь с грудью, словно вместе срослись их стальные брони. Земля и камни под ногами их были изрыты, кусты перемяты. Товарищи обоих не сме-ли ни дохнуть, ни шевельнуться. Наконец, одолел Фритиоф и прижал берсерка коленом к земле.

— Жаль, нет при мне меча теперь! — ска-зал он, а то бы я зараз покончил с тобой.

— Ступай за мечом, я не трону, — отвечал горделиво Атлий: — ведь нам обоим суждено быть в Вальгалле[14] только мне сегодня, а те-бе, быть может, завтра.

И он не тронулся с места, пока Фритиоф до-ставал свой брошенный меч. Такое бесстра-шие обезоружило нашего героя и он протянул врагу руку.

Тут подошел старый Гальвард, приглашая победителя на пир к своему ярлу. Ангантир сошел с своего серебряного трона на встречу к молодому гостю, взял его за руку и посадил рядом с собой.

— Не раз бывало, — сказал он, — пировали мы здесь с лучшим другом моим Торстеном Викингсоном. Пусть же теперь сын его займет его место.

И, налив кубок искристым «сицилийским» вином, он осушил его в память покойного. Тут Фритиоф передал ему цель своего прибытия.

— Дани я никогда не платил и платить не буду! — Воскликнул ярл. — Но тебя, сына моего друга, награжу, как хочу.

Он подал знак рукой малютке-дочке. Та побежала вон и возвратилась с кошельком, набитым червонцами.

— Прими этот кошелек, — сказал ярл, и делай с ним, что хочешь. Но дай мне слово, что прогостишь у меня до весны.

Фритиоф дал слово и сдержал его, не чая, что ожидало его дома.

VIII. Возвращение Фритиофа



Пришла весна, и собрался Фритиоф в обратный путь. На седьмые сутки увидел он опять перед собой свой родной берег. Но глядит он, глядит и глазам не верит: на месте богатых хором отцовских лежат одни груды камней и пепла, да высятся только обгорелые трубы.

Он вышел на берег и уныло обошел пепелище. С радостным лаем подбежал к нему тут

старый товарищ его, косматый пес, ходивший вместе с ним на медведя; с приветным ржаньем прискакал и белый конь его, и, ласкаясь, наклонил к нему морду, ожидая обычного куска хлеба. Ах, бедный конь! хозяин твой еще тебя беднее и ничего тебе дать не может!

Подошел, наконец, и старый Гильдинг и поведал своему питомцу о том, как король Ринг с могучею своею ратью разгромил дружины Гелга; как Гелг, спасаясь бегством, в бессильной злобе на Фритиофа, сжег дотла его хоромы; как Ринг вновь посватался за Ингеборгу, и как на сей раз Гелг, не смея уже прекословить, выдал ее за Ринга.

— О, Ингеборга! — воскликнул Фритиоф, — так-то ты сдержала свою клятву!

— Не вини Ингеборгу, — сказал Гильдинг, — она убивалась от тоски, но страдала молча, как раненая чайка, которая ищет смерти в волнах морских. «Я рада была бы сейчас умереть, — говорила она мне, — но богу Бальдеру нужна жертва; так пусть же этой жертвой буду я». И повезли ее к алтарю, как на заклятие, и снял я ее с коня бледную, как

ть. И повенчали ее, молодую, с стариком Рингом. Все плакали; она одна не пролила ни слезинки и только горячо молилась. Тут Гелт увидал на руке сестры твое запястье. Сам не свой, сорвал он его с её руки и надел на руку идола Бальдера. Я выхватил уже меч, но Ингеборга меня удержала: «Оставь! пусть боги свершать расчёт между нами...»

— Да! — прервал рассказчика Фритиоф, — и расчёт этот близок, расчёт этот свершится еще сегодня!

IX. Месть Фритиофа



Была полночь, но полночь летняя, полярная; незаходящее ни на минуту солнце багряным светом озаряло вершины гор. В храме Бальдера совершалось таинство: сам король Гелг, как верховный жрец, приносил жертвы богам.

Вдруг окружающая храм священная роща оживилась: послышался лязг мечей, раздался угрожающий голос:

— Бьёрн! Становись у дверей и никого не выпускай из храма. А кто прорвался бы силой, тому раскрой череп!

Побледнел Гелг и обмер: то был голос Фритиофа! А вот и сам грозный мститель уже на пороге.

— Ты посылал меня за данью — так возьми-же ее! А там рассчитаемся в честном бою...

И веский кошелёк с червонцами полетел в лицо Гелгу.

Обливаясь кровью, Гелг упал замертво к подножию алтаря.

— Даже золота своего снести не мог! — сказал с презрением Фритиоф. — Стыдно было бы мечу моему обагриться твоею кровью...

Тут взор его упал на заветное запястье, по-

даренное им некогда Ингеборге, а теперь надетое на руку идола. В глазах его помутилось. Он рванул запястье с такою силой, что опрокинул деревянного идола; тот прямо упал в горевшее перед ним священное пламя. Огонь мгновенно охватил его и взвился к крыше. Только теперь опомнился Фритиоф.

— Настежь двери! выпускайте всех! — крикнул он своей верной дружине.

Заключенные в храме жрецы опрометью выбежали вон. Бесчувственный Гелг был вынесен на руках.

— Воды скорей! — продолжал кричать Фритиоф. — Все море сюда! Заливайте своды!

Между берегом и храмом образовалась живая цепь людей: вода передавалась из рук в руки и, шипя, заливала огонь.

Но все старания были уже тщетны. Разыгравшийся ветер сильней и сильней раздувал пламя, и к утру от храма и священной рощи остался только дымящийся пепел. Мечь Фритиофа обрушилась на него же; родные боги отвратили от него светлый лик свой, и он в слезах вернулся с дружиною на Эллиду: на родине не было уже ему места; он стал Волком

храма, он стал викингом — морским удаль-
цом, бесприютным скитальцем.

Х. Фритиоф у короля Ринга



Шел год за годом, а Фритиоф все еще но-
сился по волнам, наводя страх и трепет
на все приморские земли, начиная от Норд-
ландии до самой Греции. Молча правил он
обыкновенно рулем, мрачным взором уста-
ваясь в темную пучину. Но перед боем дух его
окрылялся, чело его прояснялось, очи метали
молнии, а голос гремел, как голос громоверж-
ца Тора.

Меж тем король Ринг жил в мире и согласии с молодой женой своей Ингеборгой. Как «весна около осени», сидела она рядом с ним на веселых его пирах.

Но раз вошел к ним незванный гость, неведомый старец, покрытый с головы до ног медвежьей шкурой. Шел он хотя согнувшись над нищенской клюкой, а все-таки на целую голову был выше всех. Как и следовало бедняку, он присел на краю лавки, у самых дверей. Но косматый наряд его был так забавен, что царедворцы с усмешкой переглядывались и указывали на него пальцами. У незнакомца за сверкали глаза. Нежданно-негаданно схватил он за грудь первого попавшегося ему мальчика и перекувырнул его. Все мигом присмирели, а король Ринг гневно окрикнул пришельца:

— Кто ты такой? Зачем и откуда тебя принесло?

— Вопросы трудные, — сказал старик. — Но изволь, я тебе отвечу. Вором[15] зовут меня, Нужда моя отчизна, Кручина меня вскормила, а Волк приютил. Летал я, бывало, на Драконе, да теперь он примерз к земле, а сам

я одряхлел. Глупец насмеялся надо мной, и я не стерпел. Но он, как видишь, невредим; так прости же и ты мне вину мою.

— Говоришь ты складно, — заметил Ринг, — а старость я почитаю. Будь же гостем и садись за стол. Но наперед явись в своем подлинном виде.

Лишь только сбросил с себя гость косматую шкуру, как пред королем предстал добрый молодец в богатом боевом уборе. Словно снега под полярным сияньем, вспыхнули щеки Ингеборги; но она потупилась и не проронила ни слова. Ринг же тихо улыбнулся и велел жене налить для гостя лучшего вина в турий рог.

Так, неузнанный, по-видимому, Фритиоф, остался надолго гостить у своих царственных хозяев.

XI. Поездка по льду



Собрались король Ринг с королевой Ингеборгой на званый пир. Путь их лежал по льду, а лед был тонок, и Фритиоф предостерегал хозяев от поездки. Но Ринг его не послушал, и в легких санках, на коне-вихре, помчал молодую жену по зеркальному льду.

Прицепил тут и Фритиоф к своим ногам коньки и полетел вслед за ними. То обгоняя их, то отставая, он вырезывал на льду искусные руны, так что в иных местах Ингеборга

переезжала свое собственное имя. Но богиня моря Рана уже подстерегала их, пробила снизу ледяную кору, лед треснул, и перед санями разверзлась зияющая полынья. Помертвела Ингеборга и ухватилась за старика-мужа. Но могучая рука Фритиофа остановила за гриву королевского коня и переставила сани на твердый лед.

— Благодарю тебя, — сказал Ринг, — сам Фритиоф позавидовал бы тебе. Услугу твою я не забуду.

Но новое искушение готовилось Фритиофу.

XIII. Испытание Фритиофа[16]



*Уж весна: щебечут птицы, блестяет день, луга цветут;
Реки, вырвавшись на волю, к морю с песнями бегут.
Роза, алая, как Фрея[17] уж из почки смотрит вновь;
В смертном радость пробудилась, и отвага, и любовь.
Старый «Конунг» с Ингеборгой собрался на ловлю в бор,*

И в нарядах разноцветных вокруг
него толпится двор.
Шум: гремят колчаны, луки; кони
ржут, вздымая прах;
Соколы кричат и рвутся с колпач-
ками на глазах.
Вот сама царица лова! Бедный
Фритъоф, не гляди!
Как звезда, она сияет на богатой
лошади.
Это Фрея, это Роота[18] но еще
прекрасней их.
На главе убор пурпурный, с связ-
кой перьев голубых.
Собралась ватага: дружно! через
горы, через дол!
Рог трубит; к стенам Одина[19]
подымается сокол.
Встрепенулись дети леса; зверь
бежит в свое жильё,
А Валькирия за зверем, потрясаю-
чи копье.
Старый Ринг не поспекает за тол-
пою удалых.
На коне, с ним рядом, Фритъоф
едет сумрачен и тих.
В удалой груди теснится много
грустных, черных дум:

Их веселье не разгонит, заглушить не может шум.

«О, зачем я бросил море, слепо шел навстречу бед?

Море черных дум не терпит: дунет ветер — и их уж нет.

Все храм Бальдера я вижу, все обетом я смущен,

Данным девой: он не ею, он богами нарушён!»

Так роптал он. Вот дорога их приводит в дол глухой,

Мрачный, стиснутый горами, осененными сосной.

Ринг сошел с коня и молвил: «Вот уютный уголок.

Я устал, мне нужен отдых: дай, приляжем на часок».

«Не уснуть тебе здесь, конунг!

Здесь жестка, сыра постель...

Возвратимся: до чертога недалеко нам отсель...»

Боги сходят к нам нежданно; так и сон, прервал старик:

«Иль хозяин перед гостем не дерзнёт уснуть на миг?»

Фритъоф плащ свой тут снимает, расстилагает на траву,

И к его колену конунг клонит белую главу.

Тихо спит он, как по битве спят герои на щитах,

Безмятежно, как младенец у родимой на руках.

Чу! вот песня черной птицы раздалась из-за ветвей:

«Фритьоф! кончи спор давнишний: старца спящего убей!

Ты возьмешь вдову; невеста вновь обнимет жениха.

Люди здесь тебя не видят, а могилы сень тиха...»

Фритьоф слушает: чу! Песня белой птицы раздалась:

«Люди здесь тебя не видят, но везде Одина глаз!

Ты-бы спящего зарезал? безоружного б убил?

Что ни взял-бы ты злодейством, только б славы не добыл!»

Смолкло в чаще. Вот подымлет Фритьоф меч свой боевой,

И его в смятенья мечет далеко во мрак лесной.

Птица черная безмолвно в грозный Настранд[20] унеслась,

А другая с громкой песнью — к
солнцу, будто арфы глас.

И не спит уж старый конунг:
«Как прекрасен был мой сон!
Сладко дремлет, кто оружием
богатырским охранен.

Но скажи, о, незнакомец: где же
меч твой, молний брат?

Кто разрознил неразлучных? Кто
похитил твой булат?»

«Что нужды? — сказал вои-
тель, — тьма на севере мечей;
Зол язык меча, не знает он мири-
тельных речей.

Духи водятся в булате, духи су-
мрачных краев:

Сна не чтут они их манить блеск
серебряных власов».

«Знай же, юноша, не спал я: испы-
таньем было то!

Неиспытанным ни мужу, ни мечу
не верь никто.

Фритьоф ты: тебя узнал я, лишь
в чертог мой ты вступи!».

Старый Ринг давно уж ведал то,
что хитрый гость таил.

«Что ты взоры потупляешь? Не
всегда и я был стар.

Наша жизнь есть битва, юность
то берсерка бранный жар.

Сед я, видишь: скоро, скоро под
курганом буду я!

Ты тогда возьми и край мой, и
жену: она твоя!».

«Не как вор пришел я! — мрачно
молвил Фритъоф:

— если б взять захотел я Ингеб-
оргу, кто-бы мог мне помешать?

Ах, в последний раз взглянуть
лишь на невесту я желал!»

О, безумец! снова пламень пога-
савший запылал...

«Конунг, прочь пора: довольно я
гостил в твоём краю.

Гнев богов непримиримых тяго-
тит главу мою.

Светловласый, кроткий Бальдер
покровитель всем живым;

Он меня лишь ненавидит, я один
отринут им!

Да, я сжег его божницу! Волком
храма назван я.

Как мое раздастся имя, плачет,
резвое дитя.

Пир веселый умолкает... Проклят
я в краю родном;

*Мне в стране отцов нет мира,
мира нет во мне самом.*

*Прочь же, прочь в зыбям роди-
мым!*

*Встань, дракон, мой добрый! в
путь!*

*Резво ты в соленой влаге вновь ку-
пай крутую грудь;*

*Дай услышать голос грома, дай
услышать бури вой!*

*Лишь среди тревог и шума у меня
в душе покой...»*

XIII. Смерть Ринга и выбор нового короля

Оставалось ему только проститься с Ингеборгой. Когда он вошел к ней, то застал у неё и старого Ринга.

— Пора мне! Загостился я у вас, — сказал он. — Но на прощаньи, Ингеборга, прими от меня прежнее запястье и не снимай уже его никогда, чтобы хотя в памяти вам не разлучаться.

— Вот как ты отдариваешь ее за зимовку! — заметил шутливо Ринг, — А мне ничего, точно я был менее ласков с тобой!



— О, Ринг! — воскликнул Фритиоф: не ходи ты с нею к морю в звездную ночь! Неравно труп Фритиофа принесет к вам волной...

— Нет, друг мой, — молвил Ринг, — не тебе пора, а мне.

Смерть стережет уже меня за дверьми. Но королю постыдно умереть на покойной по-

стели...

И, верный древнему завету предков, Ринг вырезал себе острием копья на груди и руках священные руны и, истекая кровью, в последний миг сам соединил руки Фритиофа и Ингеборги.

С кончиною Ринга, народу предстояло на тине (вече) избрать себе нового вождя. Под открытым небом сошлись избиратели-бонды. Явился и Фритиоф, ведя за руку малютку-сына Ринга, и взошел с ним на камень. По толпе прошел ропот:

— Да ведь он еще неразумный ребенок? Ему ли судить нас? Ему ли вести нас в смертный бой?

Но Фритиоф поднял мальчика на щит свой и объявил, что лучше вождя их им избрать: кровь Одина явно светится в детской его красоте, Сам же он, Фритиоф, клянется охранять страну своим мечом, пока дитя не подрастет.

Между тем, сынок королевский, сидя на щите, как орлёнок над скалой, соскучился ждать, спрыгнул с вышины и, как ни в чем не бывало, стал около камня.

Тут весь народ, как один человек, провоз-

гласил его своим королем, а Фритиофа ярлом (графом), прося его до времени править страной и жениться на молодой матери королевской.

— Вы собрались сюда короля избрать, а не невесту сватать, — сказал Фритиоф. — Бог Бальдер еще не простил мне моей вины, а только он один может возвратить мне мою невесту.

С этим он наклонился к малютке-королю, поцеловал его и, не оглядываясь, удалился.

XIV. Примирение



И вот он снова на родине своей, на могиль-

ном кургане своего отца. Тут предстало ему дивное видение: новый храм Бальдера, краше прежнего. Он понял, что это видение — указание свыше, и на месте сожженного храма воздвиг новое капище, красоты невиданной.

Наступил день освящения храма. Двенадцать дев в «покровах серебристых», войдя туда попарно, начали перед алтарем Бальдера священную пляску. Сдавалось, что то пляшут не смертные девы, а воздушные эльфы на лесной лужайке, окропленной алмазами утренней росы. И пели они священный гимн о светозарном Бальдере, о том, как пал он жертвой брата и как все возрыдало: и небо, и море, и земля...

Глядел и слушал Фритиоф, опершись на меч свой; и вновь восстали перед ним светлые дни его детства, его юности, ожесточенный дух его смутился.

Тут вошел неслышно верховный жрец, не юноша, как бог-красавец Бальдер, а сановитый старец, с белой по пояс бородой.

— Я ждал тебя, сын мой, — начал старец. — Две тяжести положены богами на весовые ча-

ши жизни: земная сила и небесная кротость. Ты хочешь примириться? Но знаешь ли ты, что такое истинное примирение? Есть жертва, которая богам милее даже дыма пролитой крови: жертва эта — жертва твоего мщениа, твоей вражды! Если ты не готов еще прощать, то зачем ты здесь, зачем воздвиг этот храм? Камнями ты не укротишь богов!

Ты невзвидишь сыновей Бела. За что, скажи? За то, что они не выдали сейчас за тебя, за крестьянина своего, царственную сестру свою? Но в ней течет Одинова кровь! Не осуждай-же их за гордость, да не будешь сам осужден... Гелг погиб...

— Погиб! — вскричал Фритиоф.

— Да, погиб. Он воевал с народом финнов. На утесе стоял там древний храм, воздвигнутый во славу бога их Юмалы. С незапамятных времен он был замкнут и покинут: в народе финском жило поверье, что кто осмелится отворить тот храм, чтобы увидеть Юмалу, того Юмала сразит на месте. Услыхал о том Гелг и, в злобе своей, задумал разрушить вражий храм. Пошел он к нему и затряс его ветхие столбы. Храм обрушился, но истукан Юма-

лы задавил самого Гелга под собой. Так-то несчастный узрел Юмалу! Гонец прошлою ночью привез нам эту весть. На троне Бела сидит теперь один добрый Гальфдан. Протяни же ему братскую руку и пожертвуй мстью богам!

На пороге храма показался сам Гальфдан и робко стал поодаль от грозного врага. Фритиоф отвязал свой меч, приставил его к алтарю и с протянутой рукой подошел к Гальфдану. Тот, краснея, снял железную перчатку, и годами разрозненные руки сплелись опять в крепком братском пожатыи!

Теперь лишь верховный жрец сложил с головы изгнанника тяготевшее на нем проклятие.

Опять растворились двери и вошла Ингеборга в мрачном одеянии, в горностаевом плаще, а за нею, «как звезды за луной», её девы. В слезах кинулась она в объятия брата Гальфдана, а тот, растроганный, передал ее Фритиофу. Так на всю жизнь свою подала она руку тому, кто был ей мил еще с раннего детства...

Биография

Василий Авенариус



АВЕНАРИУС Василий Петрович (1839–1919) — писатель для детей и юношества. Повесть «Современная идиллия» впервые помещена в «Всемирном труде» (1865). Отрицательное отношение к передовым стремлениям шестидесятых годов, грубый пасквиль на современную молодежь вызвали жестокие нападки критики как на эту, так и на следующую его повесть («Поветрие», 1867), и он скоро оставил общую лит-ру, только изредка возвращаясь к ней впоследствии. Имя его известно почти исключительно в детской лит-ре. Он не был писателем по про-

фессии и работал над своими произведениями очень медленно. А. переложил, или вернее издал в приспособленном для детей виде, русские былины — «Книга о киевских богатырях» (1875). Эта книга приобрела большую популярность и много раз переиздавалась. Затем последовал ряд оригинальных сказок для детей («О пчелке Мохнатке», «О муравье-богатыре» и др.). В середине 80-х гг. А. начинает издавать ряд повестей из жизни писателей («Отроческие годы Пушкина», 1886, «Юность Пушкина», 1888, «Гоголь-гимназист», 1897, «Гоголь-студент», 1898, «Школа жизни великого юмориста», 1899, «Детские годы Моцарта», 1901, «Создатель русской оперы — Глинка», 1903, «Молодость Пирогова», 1909). Другая группа сочинений А. - его исторические повести, не поднимавшиеся выше обычных в то время исторических повестей и романов Данилевского, Соловьева, Мордовцева и др. Но все они были приспособлены к чтению подростками. В них больше рассказа о приключениях и описаний быта, чем психологии действующих лиц. Наконец третью группу представляют воспоминания детства и молодости

(«Листки из детских воспоминаний» и др.), о
виденном и пережитом («Перед рассветом»,
«За тридцать лет»). Повесть «Перед рассве-
том» рисует картины крепостного быта нака-
нуне отмены крепостного права и воспроиз-
водит психологию сторонников и врагов этой
отмены в помещичьей среде. Цель писатель-
ской деятельности Авенариуса — передача
полезных сведений юным читателям. Его
произведения проникнуты «благонамерен-
ными» взглядами, что в свое время и облегчи-
ло им доступ в царскую школу в качестве «ре-
комендованной» литературы.

Библиография

Необыкновенная история о воскресшем Помпейце:

Необыкновенная история о воскресшем помпейце: Фантаст. Повесть: (Перераб. Для юношества): С 14 картинками В.П. Авенариус. — Санкт-Петербург: кн. Маг. П.В. Луковникова, ценз. 1903.

Сказание о Фритиофе:

Васильки и колосья: Рассказы и очерки для юношества: С 22 портр. и рис. // В.П. Авенариус. — 3-е изд. — Санкт-Петербург: кн. маг. П.В. Луковникова, ценз. 1901

Из рейнских сказаний:

Лепестки и листья. — Санкт-Петербург, 1905.

* * *

На обложке рисунок — «Афиняне благодарят Тесея после убийства Минотавра». Фреска из Помпей (Дом Гавия Руфа, VII, 2, 16).



Примечания

Лира — итальянская монета, то же, что французский франк, по номинальной стоимости — 25 копеек.

[^^^]

2

Ферула — линейка, которою били по ладоням ленивых и непослушных учеников.

[^^^]

3

Эвтерпа — муза лирического песнопения и музыки.

[^^^]

4

Начало Горациевой оды «К друзьям», переведенное Фетом так: «Теперь давайте пить и вольною пятою — о землю ударять»...

[^^^]

5

Туф — отвердевшие вулканические пепел и шлак.

[^^^]

6

Атриум — крытый портик для семьи и гостей.

[^^^]

Сакрариум — капища с домашними богами, пенатами, Ларариум — киот с изображениями домашних богов, ларов.

[^^^]

8

Перестиль — окруженный колоннадой внутренний дворик.

[^^^]

9

Руны — древние скандинавские письмена.

[^^^]

10

Bjorn по-шведски — медведь.

[^^^]

Здесь игра слов: bond по-шведски — и пешка, и крестьянин.

[^^^]

Острова Оркнейские или Оркадские.

[^^^]

Берсерки у древних норманнов, составляли особую почетную стражу, схожую, по своему бесчеловечному неистовству, с опричниками царя Иоанна Грозного.

[^^^]

Валгалла — жилище богов.

[^^^]

Thiofr (вторая половина имени Фритиофа) по-исландски означает вор.

[^^^]

Этот эпизод, особенно удавшийся в стихотворной передаче академика Грота, приводится нами в подлиннике, в несколько сокращенном лишь виде.

[^^^]

Фрея — богиня красоты.

[^^^]

Роота — одна из Валькирий, дев-щитоносиц
Одина.

[^^^]

Один — отец богов, вместе с тем, в особенности, и бог войны и охоты.

[^^^]

Наstrand — жилище мертвецов.

[^^^]

Электронное
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

X

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ • ФАНТАСТИКА



LEO

186